ШАГИ КОМАНДОРА

*Пьеса*

*в трёх*

*действиях*

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА**

Александр Сергеевич Пушкин.

Наталья Николаевна Пушкина.

Екатерина Андреевна Карамзина.

Василий Андреевич Жуковский.

Николай Первый.

Александр Христофорович Бенкендорф.

Николай Герасимович Устрялов – *профессор Санкт-Петербургского университета.*

Ефрем, Мефодий – *дворцовые ламповщики.*

Половой *в трактире.*

Санкт-Петербург, начало 1837 года.

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

**КАРТИНА ПЕРВАЯ**

*Новогодний (в честь 1837 года) бал. Мраморный лес колонн. Колонны занимают всю ширь и всю глубину сцены. Это не просто Зимний или Аничков, это* – *символ николаевского каменного века империи.*

*Появляется Екатерина Андреевна Карамзина. За колоннами мелькнул камер-юнкерский мундир Пушкина.*

Карамзина. Александр! (Подошедшему Пушкину.) Полно вам носиться и сорить острословной мелочью. Помолчите со мной. (Присаживаются на банкетку.)

Пушкин. Какая вам корысть сидеть подле моего молчания?

Карамзина. Я люблю ваше молчание. Оно обширное и гулкое, как собор. И я не подле, я в нём. В пушкинском молчании можно и помолиться. Да и вам не вредно побыть в самом себе.

Пушкин. Вы полагаете, я не в себе?

Карамзина. Я могу полагать только то, что вижу.

Пушкин (живо). Разве видно?

Карамзина. Вы дурно говорили с Натали.

Пушкин. Я застал её со старым Геккереном. В слезах он умолял Натали отдаться его сыну. Барон слезлив не в меру, но когда и плачет, то из глаз слюнки текут.

Карамзина. Зло, но по делу. Натали не должна была его слушать, а вы не должны были ей выговаривать при всех, да ещё топать ногой. Государь обратил внимание на скандал и просил меня вас образумить.

Пушкин (вскочив). Я должен повиниться перед государем!

Карамзина. Полноте! Просто вы хотите улизнуть, чтобы поглядеть, не с Жоржем ли она.

Пушкин (скандируя). Барон Жорж Дантес де Геккерен!.. Зачем

государь берет в службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?

Карамзина. Вот и позлословьте со мной, коли молчать не хотите. Что скажете об адмирале, что идёт об руку с графом Сперанским?

Пушкин. Боится воды, как огня.

Карамзина (смеясь). А сам Сперанский? Он-то сродни вам: просветитель и оратор!

Пушкин. После участия графа в следственной комиссии по декабрю я понял, что слова «оратор», «ораторствовать» не латинского происхождения, а чисто русского – от слова «орать».

Карамзина. И не смешно, и... страшно. Александр!.. И по декабрю довольно нам жертв, зачем вы-то нынче лезете на рожон?

Пушкин. Разве и это видно?

Карамзина. Друг мой, в вас всё видно. Уговорите Натали уехать в деревню, да поскорее.

Пушкин безнадёжно махнул рукой.

Тогда позвольте мне с ней говорить об этом.

Пушкин. Позволяю, да толку не жду: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И – в слезы. А мне бы нынче в самый раз в бега, как крепостному мужику, которого торгуют.

Карамзина. Господь с вами, кто вас торгует!

Пушкин (невесело усмехнувшись). Александр Пушкин, росту два аршина четыре вершка, голубоглаз, рус, бороду бреет, крепостной России, хозяйки, росту от Санкт-Петербурга до Охотска, голубоглаза, руса, щеки от забот запали, выставлен на крепостные торги. И Николай Павлович, император, росту от Петровской площади до Алексеевского равелина...

Карамзина (испуганно). Александр! Здесь у каждой колонны уши!

Пушкин (бретёрствуя). ...глаза с выкатом, щекаст, хочет перекупить крепость на Пушкина, да даёт мало, боле надеясь на свою власть, а госпожа Россия дорожится.

Карамзина. Чего ж вы боитесь?

Пушкин. А ну как всё же сторгуются?

Карамзина. Милый вы мой, да разве вы в крепости у России? Вы – сон её дивный.

Пушкин. За «сон дивный» благодарствуйте. Да только сны о Пушкине в России всяк видит по-разному. Государю этот сон неприятен, но любопытство мешает ему проснуться...

Карамзина. Вы сегодня несносны!

Пушкин. Василий Андреевич Жуковский видит в нем как бы себя, таким, каким бы он хотел быть в жизни, но может быть только во сне: с иными стихами, с иной судьбой. Сон для Василия Андреевича сладостный, и слава богу, что в Петербурге зимние утра долги...

*Мимо проходит Бенкендорф. Звякнув шпорами, наклоном головы приветствует Пушкина. Пушкин ему отвечает. Бенкендорф скрывается в колоннах. Пушкин кивает ему вслед.*

Графу Бенкендорфу...

Карамзина *(вскочив, оттаскивает Пушкина в сторону).* Вы безумны! Хотя бы потише!

Пушкин (понизив голос). Графу Бенкендорфу он снится как большое дело по розыску свободомыслия в России. После четырнадцатого декабря графу он снится постоянно, для него это сон с продолжением, с доносчиками, реестрами и специальными суммами денег от казны для продления сего полезного отечеству сна...

Карамзина (прикрывает ему веером рот). Замолчите, несносный вы человек! Расскажите лучше, как вы когда-то приснились в Одессе Лизаньке Воронцовой.

Пушкин. Это был сон летний, навеянный южным полнолунием и шумом волн. В этот сон она вбежала, как в таинственный грот над серебристой пучиной. Утром вспомнила, поехала в коляске искать этот грот, но не нашла и за дневными покупками забыла про сон... Кавалергарду Жоржу Дантесу де Геккерену...

Карамзина. Не надо, прошу вас!

Пушкин (упрямо и со злостью). Жоржу Дантесу, после его первой встречи с Натали, Пушкин приснился как тёмный штрих при платье красавицы. В эту ночь Дантес спал спокойно и улыбаясь. Потом он стал сниться Дантесу как муж и соперник. Бедный Жорж часто просыпался, пил несогретое красное вино и утром уезжал на дежурство злой и невыспавшийся...

Карамзина. Александр! Прекратимте эту игру.

Пушкин (его понесло). Наталье Николаевне он снится как должное. Скучно снится. Этот сон для неё оборачивается множеством детей. Он снится ей как воплощённый долг: то ли супружеству, то ли портнихе. (Бросив взгляд за колонны и раздув ноздри.) Впрочем, иногда он снится ей как Пушкин, приехавший свататься, но выше ростом и в кавалергардском мундире...

Карамзина (посмотрев туда же, куда и Пушкин). Вы истинно безумны! Она не с Жоржем, она с государем.

Пушкин *(отвернувшись, спокойно).* Я вижу.

Карамзина. Друг мой, уж коли вы выезжаете, так должны смириться с обыкновенностью светского бытия. Эти колонны столько дворцовых флиртов видели у своих подножий! И ничего.

Пушкин. Вы правы, колоннам ничего. Они каменные.

Карамзина. Вы знаете, о чем я говорю.

Пушкин. Знаю. Да вот беда: со мной в обыкновенностях случается необыкновенное. Давеча, у Вяземских, после чая я откинулся на диван и стал постукивать ладонью по проступившей пружине. И вдруг услышал, как в руке замирает колокольный звон. Всё обыкновенно: и чай, и диван, и пружина, – а ладонь уже не ладонь, а свод колокольни Ивана Великого, когда там ударили набат, а внизу, под звонами, Гришка Отрепьев мечется.

Карамзина (тихо). Вы сами необыкновенность в обыкновенном!

Пушкин. Или вот ещё... Вы ничего не слышите, когда приближается государь?

Карамзина. Нет. Ну, шпоры позвякивают, когда его величество при шпорах. Да ведь шпоры у многих. А так, особенного... Нет, ничего.

Пушкин. А у меня в ушах шаги командора. Каменные шаги. Словно на меня моё собственное надгробие надвигается.

Карамзина (защищаясь улыбкой). Да вы Дон Гуан! И шаги командора в ушах, и список ваших прелестниц недавно открылся в альбоме Элиз Ушаковой.

Пушкин. Она что же, нынче даёт читать эту стародавнюю шалость всем?

Карамзина. Зачем же всем? Но я читала.

Пушкин. И теперь изменились ко мне?

Карамзина. Нет. Просто я подумала, что, когда много женщин – это тоже одиночество. Александр!.. Только со всей откровенностью. «Катерина первая» в списке... не я?

*Пушкин отрицательно качает головой.*

А я?..

Пушкин. «Катерина вторая». Великая! (Склоняется к её руке.)

Карамзина. Тогда вы были юны, а я почти в ваших нынешних летах. Наверное, в этом было и чудо и прелесть...

Пушкин. Вы и так хороши, а сейчас захорошелись вдвое.

Карамзина (приложив ладони к щекам). Друг мой! Такие воспоминания красят. (Увидев что-то за спиной Пушкина.) Сюда государь с Натали!

Пушкин *(не оборачиваясь).* Я слышу.

Карамзина (встревоженно). Шаги командора?

*Пушкин согласно кивает. Некоторое время оба стоят молча, словно прислушиваясь к себе. Из-за колонн выходит Николай об руку с Натали.*

Николай. Вот тебе твоя жена, Пушкин. Вези домой сей бесценный дар. У ней голова болит, и нюхательные соли не помогают. (Оставив Натали, отводит Пушкина в сторону.) Что ж это ты, друг мой, а?.. (Укоризненно качает головой.) Понимаю твою ревность, да ведь держать себя надо!

Пушкин. Государь! Барон Геккерен...

Николай (перебивает). Знаю, знаю! Да пустое всё это. Неужто я тебя дам в обиду? Дурно обо мне думаешь, Пушкин. Погляди-ка на меня!.. Ну, поостыл?.. Да, никак, у тебя в глазах просьба?

Пушкин. Две, государь. (Улыбнувшись.) В каждом глазу по просьбе.

Николай. Лукав ты, Пушкин. Ну, говори.

Пушкин. Дозвольте не являться боле в камер-юнкерском мундире. Сей мундир юнцам приличен, а в мои лета...

Николай (перебивает). Твои лета тут ни при чем. Хочу, чтоб камер-юнкерский мундир Пушкина на все глаза мозоли набил. Тогда и жалованная перемена видней будет.

Пушкин. Перемена, государь?

Николай. Об том не теперь. Ну, а во втором-то глазу у тебя что?

Пушкин. Государь! Его сиятельство граф Бенкендорф...

Николай. Погоди! Граф где-то здесь был, сейчас всё и уладим... (В сторону колонн.) Александр Христофорыч!

*Из-за колонн выходит Бенкендорф, подходит к ним.*

(Кивает на Бенкендорфа.) Ты так и величаешь его «граф», «ваше сиятельство»?

Пушкин. Так, государь.

Николай. Зря! Граф демократ и любит, когда подчинённые с ним запросто: «Александр Христофорыч», и всё тут.

*Бенкендорф приветливо улыбается.*

Пушкин. Вы забыли, ваше величество, я не в подчинении графа, я под надзором его.

Николай. Ну-ну, оберни всё шуткой. Так, говоришь, не дозволяет граф печатать «Песни о Стеньке Разине»?

Пушкин. Вам известно уже об том, государь?

Николай. Выходит так, друг мой. И запомни: ты не у Александра Христофорыча в подчинении, ты у меня в дружбе. А стихи твои отменны!..

«Стал воевода

Требовать шубы.

Шуба дорогая;

Полы-то новы,

Одна боброва,

Другая соболья.

Ему Стенька Разин

Не отдаёт шубы.

«Отдай, Стенька Разин,

Отдай с плеча шубу!

Отдашь, так спасибо;

Не отдашь – повешу...».

Бенкендорф *(приветливо улыбаясь).*

«Что во чистом поле,

На зелёном дубе

Да в собачьей шубе...».

Николай. Такие стихи в память сами вливаются, Пушкин. Тут не твоя вина – вина твоего гения.

Пушкин. Государь!..

Николай (перебивает). Не благодари! Благодарить я должен, за истинное наслаждение благодарить.

Пушкин. Неужто они наконец свет увидят?

Николай. Пушкин! О чём я должен думать? Об отечестве или о своих наслаждениях? То-то! Можешь не отвечать, знаю, что скажешь: об отечестве!

Пушкин (не без иронии). Об отечестве, государь.

Николай. Ироничность твоя напрасна. Истинно об отечестве! А для отечества стихи сии нынче не надобны, боле того, вредны они.

Пушкин. Но чем, ваше величество? Сколько я в них ни вчитывался, не могу найти крамолы!

Николай. Ты не найдёшь – другие найдут, в том и беда наша. Виселица-то на Кронверке ещё в голове у многих. А ты:

«Отдашь – спасибо,

Не отдашь – повешу!..»

Бенкендорф *(приветливо улыбаясь).*

«Что во чистом поле,

На зелёном дубе

Да в собачьей шубе!..»

Пушкин. Я не имел в виду виселицу на Кронверке, государь.

Николай. Знаю. Потому и благосклонен к тебе. А за всех ли в России ты ответ можешь держать? Коли мне на ум могло пасть такое, Александру Христофорычу, почему и другим не падёт? Тут и вредность стихов твоих. Невольная вредность, понимаю, да всё вредность!

Пушкин. Я повинуюсь, государь.

Николай. «Повинуюсь», «повинуюсь»!.. Да зачем мне твоё повиновение? Мне вон пятьдесят миллионов повинуются. «Повинуюсь» да «слушаюсь» мне не в редкость, мне дружба в редкость. Изволь, я скажу Александру Христофорычу, чтоб не чинил тебе препятствий в печатании «Песен о Разине». Изволь! Александр Христофорыч!..

Бенкендорф. Я распоряжусь, ваше величество. Государство от того не покачнётся.

Николай (Пушкину). Но по дружбе тебя самого прошу не печатать. Прошу, Пушкин! Не приказываю, нет, прошу! Конечно, государство от того не покачнётся, Александр Христофорыч прав, но разговоры пойдут да шпильки мелкие... А? Зачем это нам с тобой? Ну, друзьям читай в крайности, чтоб у тебя самого чувство было, что не зазря трудился. А напечатать успеем! Чай, не на год, на века пишешь. Ну как?

Пушкин. Я не стану их предпринимать в печать, ваше величество.

Николай. А стихи отменны! Прекрасные стихи! Как это...

Бенкендорф.

«Стал Стенька Разин

Думати думу:

Добро, воевода,

Возьми себе шубу,

Возьми себе шубу,

Да не было б шуму!»

Николай. А?.. Каково!.. (Смакуя.) «Шшшубу»!.. «Шшшуму»!.. Я горжусь тобой, Пушкин! Да, всё хотел спросить: как твои дела с материалами к истории Петровой?

Бенкендорф. Материалы почти собраны, ваше величество. Нынче ж Александр Сергеевич собирается приняться за их литературное изложение.

Николай (Пушкину). Верно ли?

Пушкин. Да, государь.

Николай. С богом! Познакомишь меня со своими мыслями на сей счёт, да не пренебреги и моими. Я скажу через Жуковского, когда тебе быть ко мне. Прощай! (Скрывается за колоннами.)

Бенкендорф. Вы благоразумно ведёте себя, Александр Сергеевич. Его величество искренно к вам расположен, поздравляю. Я счастлив, что стану первым читателем исторических трудов ваших. Счастлив не по службе, по сердцу счастлив, поверьте.

Пушкин. И я счастлив, ваше сиятельство.

Бенкендорф. Да полноте вам!.. «Сиятельство», «сиятельство»! В России сияете вы, а мне выпала чёрная роль: быть тучей при вас, закрывать порой ваше удивительное сияние. Да что поделаешь! В службе, как и в любви: сердцу не прикажешь. Вы сами это поймёте при вашей новой должности историографа: сердце будет тянуться к одному, а служба обяжет к другому.

Пушкин. Я не в службе, ваше сиятельство! Я по сердечному зову принялся за изучение петровских документов.

Бенкендорф. За этот ваш «сердечный зов», Александр Сергеевич, государь вам вот уже скоро пять лет как выплачивает по пятисот рублей жалованья в месяц. Жалованья, Александр Сергеевич, не пенсиона. А коли жалованье, то, значит, и служба. Вы уж пять лет как в службе, да не догадывались об этом. А нынче пришла пора понять вам, что служите.

Пушкин. Я не Булгарин, ваше сиятельство.

Бенкендорф (с укором). Александр Сергеевич! Да как же вам

не совестно себя равнять с Булгариным! (С грубоватой доверительностью, как своему.) Булгарин у меня в Третьем отделении при подлостях состоит, в услужении, а не в службе. Он нам не ровня. А мы с вами служим государю, сиречь – отечеству. Вспомните, что ваш покойный тёзка, Александр Сергеевич Грибоедов, писал: «Служить бы рад, прислуживаться тошно!..» Булгарин прислуживается, да ему не тошно: уж натура такая! А вот «служить бы рад» – сие у Грибоедова сказано всерьёз, с пониманием о долге. Долг, Александр Сергеевич! Сердце рвётся к одному, а нельзя! Схватишь его словно руками, сожмёшь, не пустишь... Больно, а долг! Долг у таких людей, как мы с вами, впереди сердца, Александр Сергеевич. Простите, что себя с вами равняю, да ведь служба у нас теперь одна: государева. Честь имею! (Звякнув шпорами, скрывается за колоннами.)

*Пушкин остаётся в растерянности. К нему подходит Карамзина.*

Карамзина (тихо). Ну что? «Ужасно пожатье каменной десницы»?.. Что ж вы «О, дона Анна!» не кричали?

Пушкин. Дайте срок, ужо закричу!

Натали *(Пушкину, держа пальцы на висках).* Велите подать сани!

*Поклонившись,* Пушкин *уходит.*

Карамзина (к Натали). С Новым годом вас, друг мой.

*Держа пальцы на висках, Натали приседает в небрежном реверансе.*

Больно?

Натали. Страсть какая мигрень разыгралась.

Карамзина. Вам бы отдохнуть от петербургской суеты. Попросите государя, чтоб он велел Пушкину в деревню ехать.

Натали. У вас с Пушкиным об этом разговор был?

Карамзина. И об этом.

Натали. Поди, корил меня за то, что я не хочу жить в сугробах, с волками?

Карамзина. Не скрою, корил.

Натали. Я просила государя отпустить нас в Болдино. Пушкину там пишется легко.

Карамзина. Что ж государь?

Натали. Сказал, что деревенская тишина к философствованиям располагает, а Пушкину не философствовать надобно, а трудиться для пользы отечества. Ему предстоит труд по истории Петровой, и государь на него уповает.

Карамзина. Александр знает о вашем разговоре с его величеством?

Натали. Зачем ему знать ещё об одной своей неволе? Пусть эта неволя будет ему от меня, всё легче.

Карамзина. Простите меня великодушно.

Натали. За что? За то, что вы обо мне дурно судили? Обо мне все дурно судят.

Карамзина. Да, правда. Вас почитают надменной.

Натали. Не я, моя красота надменна. А меня за ней вовсе не примечают. На балах моя красота так прирастает ко мне, что мне её и дома с каждым разом сбрасывать всё трудней.

Карамзина. Я в удивлении: вы всегда так молчаливы!

Натали. Я вам откроюсь... Когда мы только переехали в Петербург, Александр мне велел быть молчаливой в свете. Я, мужняя жена, и подчинилась.

Карамзина. Я не знала, что он такой деспот!

Натали. Нет, он прав.

Карамзина. Да зачем же прав?!

Натали. Когда женщина хороша, но молчит, про неё только и скажут, что хороша. А коли она при красоте ещё и ум объявит, про неё непременно скажут: дура!.. (Прикоснувшись к руке Карамзиной.) Скажите, коли мы уж перешли с вами на откровенность... Вы... ничего не слышали о каком-то донгуанском списке мужа в альбоме Элиз Ушаковой?

Карамзина. Я читала этот список.

Натали. Сколько там имён?

Карамзина. Тридцать семь.

Натали (рвёт кружевной платок). Кто же они... эти дамы?

Карамзина (улыбнувшись). Разве всех упомнишь! Одно могу сказать, что Пушкин богаче России: у России было две Екатерины, у Пушкина – четыре.

**КАРТИНА ВТОРАЯ**

*Кабинет Пушкина. Письменный стол в бумагах, стеллажи с книгами. Подле одного из стеллажей* – *диван с замятой подушкой. На диване разложены раскрытые в нужных местах книги. Две двери: одна в прихожую, другая в гостиную.*

*Утро. Пушкин по-домашнему, в шлафроке*,– *за письменным столом. Из гостиной тихо входит Натали. Видно, что она недавно от сна.*

Натали. К тебе можно?

Пушкин (*не* отрываясь от работы). Войди, мой ангел.

Натали. С добрым утром, Пушкин.

Пушкин. Целую кончики твоих крыльев.

*Встав за спиной Пушкина, Натали читает через его голову то, что он пишет. Потом подходит к дивану, садится, осторожно сдвинув книги. Смотрит на Пушкина.*

Натали. Зачем ты давеча любезничал со старухой Карамзиной?

Пушкин. Друг мой, да какая же она старуха?

Натали. Ей, видно, к пятидесяти.

Пушкин. Да ведь хороша ещё. И умна.

Натали (упрямо). Старуха.

Пушкин. Кто из нас венецианский мавр Отелло?

Натали. Я!

Пушкин. Может статься, ты меня и прирежешь?

Натали. Коли будешь нежничать со старухами, которые «ещё хороши»,– может статься, и прирежу. Вот видишь! А в свете считают, что я холодна.

Пушкин. Просто, душа моя, ты носишь свою красоту, как вицмундир, застёгнутый на все пуговицы. А под застёгнутым вицмундиром трудно разглядеть сердце.

Натали. Ты разглядел.

Пушкин. Потому ты и моя жена. Ты ко мне с делом?

Натали. Я к тебе запросто, без красоты, с одним сердцем.

Пушкин (отложив перо, смотрит на Натали). Я рад.

Натали. Я знаю! И ещё я знаю: есть страна «Пушкин». Своди меня туда, а?

Пушкин. Она за забором, а забор высок.

Натали. А ворота?

Пушкин. Ворота на замке, да ключ куда-то задевался.

Натали. Ты давно там не был?

Пушкин. Всё недосуг. Да и нынче не стоит: поди, там пыли набилось во все щели.

Натали. Никакой пыли. И берёзы свежи!

Пушкин. Ты что ж, прыгнула через забор?

*Натали утвердительно кивает.*

Тогда и я следом. (Помолчав.) Ну как?

Натали. Сколько берёз! Как у дедушки в Полотняном заводе. Это красиво.

Пушкин. Это банально, мой ангел. Зато под берёзами гремят ручьи. Они тоже были бы банальны, кабы не это... слышишь?

Натали. В ручьях живёт рифма?

Пушкин. Ты не глуха на рифму, это мне в радость.

Натали. А над ручьями сидят женщины, которых ты любил. Тридцать семь штук.

Пушкин (несколько смущён). Видишь ли...

Натали (перебивает). И видеть не хочу. Пойдём дальше.

Пушкин. Можно, я им хоть рукой помашу?

Натали. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»

Пушкин. Изволь, и рукой махать не стану.

Натали. А зачем ты кустарник постриг по-аглицки?

Пушкин. Чтоб видней был дуб с золотой цепью.

Натали (всплеснула руками). Да ведь ошейник на цепи разомкнут! Учёный кот ушёл.

Пушкин. Что делать! В стране «Пушкин», видно, стоит март, учёный кот и ушёл гулять по марту.

Натали. Это он сейчас сказал басом: «Все всуе и втуне!»?..

Пушкин. Видно, он.

Натали. Зачем ты не сочинил ему равной кошки?

Пушкин. За молодостью, мой ангел.

Натали. Вот он и бродит сам по себе.

Пушкин. Ничего, в апреле страсти улягутся и снова можно будет ходить «по цепи кругом».

Натали. Пушкин, ты у меня велик?

Пушкин. Про то потомки скажут.

Натали. Зачем же памятник тебе?

Пушкин. Страна «Пушкин» с лицейских стихов началась. Видно, юное моё тщеславие и о памятнике позаботилось.

Натали. О чём задумался памятник Пушкину?

Пушкин. Что тяжко служить памятником: руки закованы и головы не вскинуть.

Натали. Я знаю другую дорогу, не к памятнику.

Пушкин. Ты и без меня бываешь в стране «Пушкин»?

*Натали согласно кивает.*

И всё через забор?

Натали. Да ведь ключ куда-то задевался!

Пушкин. Ну что ж, пошли. Куда поведёшь меня?

Натали. В звучащую тишину. Там можно стоять и слушать себя.

Пушкин. Славно!

Натали. Пойдём через туман?

Пушкин. То не туман, то сны. Обойдём-ка их лучше.

Натали. Не смей от меня таиться и в снах!

Пушкин. А ну как они не добры?

Натали. Зачем же мне одно только доброе от тебя? Я и половину недоброго могу взять на плечи.

Пушкин. И то правда! Плечи у тебя покаты, недоброе с них и скатится.

Натали. Александр, это дерзость.

Пушкин. Прости, мой друг. А сны лучше обойдём.

Натали. Нет!

Пушкин. Да ведь там не женщины.

Натали. Так зачем же тебе от меня таиться? Я уж по глаза в тумане. Что за сон здесь?

Пушкин. О тебе.

Натали. А сказал, что в снах нет женщин!

Пушкин. Прости! Одна и во всех.

Натали. Что же приснилось Пушкину?

Пушкин. Жена, жар-птица, протянула ему руку в бальной перчатке. В волнении он начал стягивать перчатку. Текла упругая, шелковистая кожа, продушенная от перчатки жасмином. Он припал губами к этой белизне и вдруг заметил кисть своей руки. Рука была не его – смуглой, с лёгкими завитками русых волос из-под манжета,– а белой, пухловатой, под обшлагом кавалергардского мундира. Жена похохатывала призывно, и он посмотрел на неё, как никогда не смотрел, когда они стояли рядом: сверху вниз, на неё, высокую... Он проснулся и понял, что видел чужой сои. (Помолчав.) Истинно «в руку».

Натали. Пушкин! Уйдём отсюда. Ночной туман рассеется и бог с ним!

Пушкин. Изволь.

Натали. Нет. А что в другом тумане?

Пушкин. Другой сон.

Натали. Пусти меня и в него.

Пушкин. И он недобрый.

Натали (встав с дивана, опускается перед Пушкиным, кладёт голову к нему на колени). Пусти! Ну?.. Что теперь приснилось Пушкину?

Пушкин. Прости, лгать тебе не умею... Он... репетирует дуэль перед зеркалом в прихожей.

Натали (растерянно). Почему?.. Зачем же дуэль?

Пушкин. Так уж приснилось. Пойдём отсюда?

Натали (с трудом). Нет.

Пушкин. Два Пушкина одновременно поднимают пистолет и целят друг в друга. В прихожей крутится снег, смешиваясь со снегом в зеркале. От долгого прицеливания морозный спусковой крючок тает под пальцем. Палец перестаёт чувствовать упор, крючка словно и не было. Можно пошевелить пальцем, но он не шевелит... На всякий случай... Видишь, сколь велика полоса тумана?

Натали. Что это значит?

Пушкин. Что этот сон ему снится часто. Пойдём?

Натали (тихо). Нет.

Пушкин. Изволь!.. Давеча Пушкин в зеркале опередил его и поднял пистолет первым.

Натали (вскочив). Пойдём!

Пушкин. Друг мой, у тебя глаза стали с другого лица. Испугалась?

Натали. Очень!

Пушкин. Да ведь я успел проснуться!.. (Усмехнувшись.) Напротив, в креслах, сидел государь. Он крутил в руке лорнет. Потом приложил лорнет к верхней губе и лорнет обернулся петровскими усиками, накладными. Николай Павлович встал, его фигура начала расти. Достигнув потолка, голова растворилась, как облако. Передо мной стоял императорский мундир. На согнутой в локте руке мундир держал императорскую голову. Я не удивился, я знал, что голова у Николая Павловича съёмная: по утрам он её снимал, с заботой начёсывал вперёд бакенбарды и надевал только к выходу. Он её не доверял никому и носил сам. Вдруг меня осенило: государь решил, что у меня тоже съёмная голова. Я заметался...

Натали. Александр!

Пушкин. И проснулся ещё раз. В комнате дышал кто-то чужой. Я прислушался. Дыхание было резкое, мужское, не твоё, мой ангел. Я слушал не шевелясь. Потом догадался, что дышу я сам. Просто на мгновение в комнату вошёл Пушкин из зеркала.

Натали. Что за странная игра с самим собой?

Пушкин. Есть италийская поговорка: «Тот, кто играет сам с собой, всегда в выигрыше»... Не волнуйся, душа моя, я не стану гоняться за собой с пистолетом: неловко предстать перед богом запыхавшись.

Натали. Только это?

Пушкин (помолчав). Нет. В России Пушкин не может убить Пушкина.

*Раздаётся стук в дверь, ведущую из прихожей.*

*(Вскидывает голову.)* Кто ко мне?

Голос за дверью. Александр, это я.

Пушкин (тихо, с удивлением). Жуковский?.. (К Натали.) Поди, друг мой, отдохни, а то я притомил тебя своими сказками.

*Натали выскальзывает в гостиную. Снова стук в дверь.*

*(Поднимается от стола.)* Войди, Василий Андреевич!

*Входит Жуковский.*

Ба! Ты что при параде в такую рань?

Жуковский. Прости за неоговорённый визит, Александр, но я от государя.

Пушкин. Садись, царедворец. *(Освобождает ему место от книг на диване.)*

Жуковский (садится, смотрит на Пушкина). А ты что с утра взъерошен?

Пушкин. Да вот... снами делился с женой. А сны нынче у меня дурны.

Жуковский. Главное, чтоб не «в руку»!

Пушкин. В руку, да не в одну: в шесть рук с женой и Дантесом на одних фортепианах играем.

Жуковский. Про то и сны?

Пушкин. От столь громкой музыки и в снах не спрячешься.

Жуковский. Да ведь Дантес окрутился с сестрой Натальи Николаевны, что тебе ещё надобно?

Пушкин. А перед тем, получив от государя приказ жениться на Катрин, полетел свататься к княжне Барятинской!

Жуковский. А женился всё ж на Катрин и нынче в родстве с тобой.

Пушкин. Да ведь вынужденное для него родство мне рук не вяжет.

Жуковский. Александр! Ты что задумал? Неужто тебя так сбесил давешний разговор старого Геккерена с Натали?.. Двор советует тебе быть благоразумным.

Пушкин. Совет этот гроша не стоит, он без хвоста и головы, не за что и ухватиться.

Жуковский. И всё же...

Пушкин (перебивает). Ты с тем и приехал ко мне?

Жуковский. Нет, это я так, к слову.

Пушкин. Да и я про «Гекренов»... к слову. Что государь?

Жуковский. Ждёт тебя в три часа от полудни.

*Пушкин молчит.*

С чем пожалуешь?

Пушкин. С Пушкиным.

Жуковский. Я серьёзно.

Пушкин. И я не шучу. Соберу том не допущенного в печать и пойду с «Пушкиным» в руках. Пусть подпишет, коли в цензоры набился.

Жуковский. Не дури! Государь к тебе милостив, сам знаешь. А «Песни о Стеньке» и правда издавать несвоевременно.

Пушкин. Мне Александр Тургенев рассказывал... Когда Буонапарте выставил госпожу де Сталь из Парижа, она уже успела издать свою «Карину». Тираж изрубили саблями жандармы, а министр полиции отписал де Сталь: «Ваша книга замечательна, по несвоевременна: в ней ни слова не говорится об императоре». Вот, Василий Андреевич, какова на деле-то «своевременность» и «несвоевременность» трудов наших.

Жуковский. Александр! Мне всё кажется, что шпильками ты стараешься прикрыть свою любовь к государю. Зачем? Люби открыто. Государь умеет отличить низкое заискивание от подлинного чувства к нему.

Пушкин. Я-то открыт, а вот он закрыл мне все пути. Зачем в Европу не пускает?

Жуковский. С твоим характером в Европе ты вовсе свихнёшься. И в России простор.

Пушкин. Да-да, это у нас от глупости до глупости рукой подать, а от мысли до мысли по пятисот вёрст скакать надо. Ты прав: простор.

Жуковский. Я в тебя подушкой кину!

Пушкин. Ты редко бьёшь, Василий Андреевич, но коли бьёшь, так мягко.

Жуковский (подняв руки). Сдаюсь! Да всё думаю, что нечего тебе по Европам горизонты искать. Горизонтов с тебя и у нас довольно: ты не Байрон, ты – Пушкин.

Пушкин. Беда-то в том, Василий Андреевич, что горизонты у нас уже все расписаны: за графом Александром Христофорычем – литературный горизонт, за графом Носсельродом – политический, черноморский под графом Воронцовым истомился. В России горизонтами ведают люди графского достоинства.

Жуковский. Понимаю твою горечь, Александр. Да, видно, у государя и на тебя горизонт припасён. Николай Павлович воистину уповает на твою историю Петрову.

*Вскочив, Пушкин зашагал по кабинету.*

Да не поостыл ли ты к ней?

Пушкин. Другое, Жуковский, другое!

Жуковский. Послушай, Сверчок, я примечаю, что-то суетится в тебе.

Пушкин. Сердце.

Жуковский. Нет, сердце в тебе не суетливо. Что-то другое в тебе мечется, дёргает тебя в разные стороны. Пооткровенничай со мной, а?

Пушкин. Государь больно добр ко мне. К добру ли?

Жуковский. Каламбур твой дурён. А государь искренно к тебе привязан, поверь мне.

Пушкин. Чем привязан? Не той ли верёвкой, из которой потом петлю совьёт?

Жуковский. Дурное несёшь, и слушать не хочу!

Пушкин. Что ж в откровенность набивался, коли слушать не хочешь?

Жуковский. Душу твою понять хочу. Господь бог заварил в тебе гений, как в сосуде, и ты должен...

Пушкин (перебивает, согласно кивая). Должен, должен... «Сосуд» должен уже сверх десяти тысяч! «Сосуд» сей из плоти, а плоть задыхается от долгов и желания жить роскошно. Вон, один извозчик Савельев с меня помесячно триста рублей дерёт за подачу четвёрки к выезду!

Жуковский. А о-двуконь ездить не можешь?.. Ах да! Пару – под красоту Натальи Николаевны, пару – под пушкинский гений. Ты прав: меньше как четвериком и не свезти!

Пушкин. Тут уж я поднимаю руки, да ничего поделать не могу!

Жуковский. Изволь. Я поговорю с его величеством о твоих долгах, коли в том причина твоих метаний.

Пушкин. Да кабы в том! От похвал государевых, от императорского благорасположения мечусь.

Жуковский. Так что же, тебе легче было бы в Петропавловке, в равелине, под замком да штыком?

Пушкин. Жуковский, душа моя, легче! Поверь, легче! Государь в тебя похвалу, что сахар в чай кидает. А ты, подлый, растворяешь её в себе и сам чувствуешь, как сладок да угодлив становишься... Чем больше тебя хвалят, тем больше хочется угодить. И вот уж из тебя Булгарин лезет с верноподданническими стишками в зубах! (Схватив со стола листок, швыряет его в камин.)

Жуковский (всплеснув руками). Сумасшедший! И прочесть не дал! (Пытается выхватить из камина листок.)

Пушкин. Брось, Василий Андреевич. Слава богу, хоть одна угодность прахом стала.

Жуковский. Вот и выходит, что я верно сказал: ты колкостями свою любовь к императору покрываешь.

Пушкин. Ещё при восшествии Николай Павлович дал мне понять, что перо моё прочит себе в оперение. Боле того, дал понять, что перо моё будет главным, опирающим молодого орла о воздух при взлёте. Лестно, Василий Андреевич! Ан перо-то никак прирасти к двуглавому орлу не может. Ему бы выпасть, на деревенский стол, в отставку, но ему нежно не разрешают. Заметь, Василий Андреевич,– нежно! Его просят не выпадать. А коли сила просит – ей не поперечишь. (Не без грустной иронии.) Вот и остаётся возлюбить силу.

Жуковский. Коли сила просит – значит, она честна, она не хочет пользоваться своим превосходством. Я вот что тебе скажу, Сверчок...

Пушкин (перебивает). Василий Андреевич! Ты меня моей арзамасской кличкой кличешь, молодостью моей, да молодость-то отошла вместе с «Русланом». Нынче всё другое, нынче я и мгновения ощущаю иначе, вещественней: каждый толчок крови во мне – мгновение. Даже когда сижу в креслах, задумавшись, ощущаю в самом себе бег времени. Да вот беда: с каждым толчком крови становится больше прошлого и меньше будущего. Меньше, Жуковский! А Николай Павлович мне что повязка на глазах: к зрелости моей я за ним Россию перестаю видеть!

Жуковский (почти заговорщицки). История Петрова – вот тебе ход в Россию. Люди славные, а время далёкое – вольничай себе всласть. Кто тебя осудит за прошлое? А государю, видно, приспело иметь на столе историю пращура, описанную живо и в лицах.

Пушкин. Ты либо воистину прост, Василий Андреевич, либо прикидываешься простым.

Жуковский. Ты дерзок ко мне, Александр. Ну да бог с тобой!

Пушкин. Жуковский!.. (Обнимает его.) Прости!

Жуковский. Я и не сержусь!

Пушкин. Верно ли?

Жуковский. Ты небрежен к друзьям, Александр. Зато для друзей своих ты стал безусловен. Заметь, с тобой уже не спорят, тобой восхищаются.

Пушкин (не без иронии). Да, да!.. Вселенская бездарность Нестор Васильевич Кукольник тоже для друзей своих стал безусловен. Заметь, с ним уже не спорят, им восхищаются. Здесь Жуковский да Вяземский, там – Салтыков да Богомазов, здесь Виельгорский, там – Глинка. А поскольку Нестор смекалист и двигает впереди себя совсем уж тупого Розена – Нестером восхищаются ещё боле. Люди, одинаково чтимые в свете, одинаково почитают гениальным несовместное! Я пишу; «То не конский топ, не людская молвь...» Барон Розен вторит: «То не репа цветёт в огороде, то цветёт Антонида в народе...» А красноглаголивые сорокалетние старцы, мужи седеющие, в восторге и от того и от другого: «Стиль а ля рюс!»... Может, зря лезу в правдолюбцы да мыслители, может, в кукольники да розены пробиваться надо? Им-то через мою голову от государя перстни с бриллиантом летят «за пиэсы», а мой «Годунов» рамповых плошек так и не увидел!

Жуковский. Ты бешен сегодня!

Пушкин. Сбесишься, коли не знаешь, что ты такое.

Жуковский. Ты – «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Цыгане», «Медный всадник»...

Пушкин. Нет, Василий Андреевич, это уже не я. Это – «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Медный всадник»... А я склоняюсь над самим собой, пролистываю мой ум, мою душу, как заготовки, ещё небрежную запись того, что может явиться ко мне в целом. Явится ли?

Жуковский. Ты ведь нынче в России не изгнанник, ты в правах. Почему ж не явиться твоему замыслу?

Пушкин. Да кабы только я в России, а то ведь и Россия во мне. Ты давеча спросил, что во мне мечется. Россия во мне колокольным языком мечется, Василий Андреевич. А колоколу невозможно укрыть звон свой.

Жуковский (предостерегающе). Александр! Колокол, ударивший не к обедне или всенощной,– набат. Держи язык-то!

Пушкин. Не прикажешь ли стать колокольчиком на государевом столе? И звонить даже не к обедне и всенощной, а к обеду и ужину?

Жуковский. Мы – творцы пищи духовной!

Пушкин. Милый ты мой! Законы искусства отличны от тех, что собрал Сперанский в свод законов империи. Вот бы что понять государю! Да ведь он того никогда не поймёт.

Жуковский. Ты прав: в том беда государя.

Пушкин. Нет, мой милый, в том наша с тобой беда. Возжаждав шампанского, устриц во льду и жену ближнего своего, двор делает вид, что сие пища духовная. А литература всего лишь рюмка водки перед ревельскими миногами. Для аппетита!

Жуковский. Не карбонарничай!

Пушкин. Где уж мне! Я – декабрист без декабря. Всё мечтал, что труд по истории Петровой обернётся для меня моей Петровской площадью, моим стоянием перед Сенатом и всей машиной. Да разве против них устоишь? Вот и я, возжаждав шампанского, устриц во льду и жену ближнего своего, уже готов почитать сие пищей духовной. Не страшно ли?

Жуковский. Пушкин, уймись! Слышишь? Уймись! Делай то, что тебе предначертано. «Медный всадник» отскакал своё в стихах, теперь должен подняться другой Пётр, в прозе, воистину великий – и собой и Пушкиным. «Всадник» был только репетицией, пробой резца, а нынче резец должен войти в глыбу истории российской. Труд Карамзина велик, он тащил глыбу, но резцом работать нынче тебе, Александр, дабы появились фигуры.

Пушкин. Боюсь, Василий Андреевич, себя, своей руки, своих мыслей, когда они начинают выстраиваться так, как угодно государю.

Жуковский. Всё, всё в тебе говорит о твоей любви к его величеству! Зачем же бежать её? Александр, мы живём в век признаний!

Пушкин. В век дознаний живём мы, Василии Андреевич. Любовь подданных можно и лаской вытянуть и шпицрутенами выбить, всё едино: любовь!.. Я знаю, чего хочет от меня государь. Чтоб я соотнёс его с Петром. От Кукольника да Розена он принимает лесть грубую, от Пушкина хочет лести топкой: не в Николае Павловиче читатели должны будут узнавать великие черты Петровы, а в Петре Великом черты скромного Николая Павловича Романова, не прямого потомка.

Жуковский. Эй, Пушкин! Не взбирайся на генеалогическое древо Романовых, на нём и повиснуть недолго. Коли, верно твоё подозрение к государю, то он ждёт, что ты свяжешь его с персоной духовно. И прав! В империи должна, наконец, наступить связь времён. А что на тебя уповает – вдвое прав! Кто из нас не говаривал: «божество», «вдохновенье», «жизнь», «слёзы», «любовь»?.. Ты сделал простую работу гения, поставил перед каждым из этих слов соединительный союз «и». Получилось:

«И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь...»

Государь ждёт от тебя той же «простой» работы. Не отказывай ему!

Пушкин. Я и не отказываю. (Усмехнувшись.) Да вот... соединительного союза никак не могу найти.

Жуковский. С чем же явишься в Зимний?

Пушкин. С Пушкиным, Василий Андреевич. Прости, боле не с чем.

Жуковский. Ах, Сверчок, Сверчок! Сидеть бы тебе на печи да цвикать. А ты вон в Пушкины выбился, что в открытое море вышел. А там, воистину, бури.

Пушкин. Топит не морская пучина, лужа топит, Василий Андреевич!

Жуковский (усмехнувшись). Ты хоть государю сделай милость, чтобы последнее слово за ним осталось, а не за тобой. Не провожай, я по-домашнему. (Идёт к двери в прихожую, проходя мимо камина.) А прочесть так и не дал! (Укоризненно покачав головой, выходит.)

*Пушкин садится к столу, углубляется в работу. Из гостиной снова выходит* Натали*.*

Натали. Что Жуковский приезжал?

Пушкин. В три часа мне к государю с проектом истории Петровой.

Натали. Я велю подать одеваться?

Пушкин. Поспеется. Зимний не за горами: и за милостью и за опалой вся-то дорога, что через мост.

Натали. А проект?

Пушкин. Всё в голове, её и отдам на суд государю.

Натали. А ну как в петлю сунет?

Пушкин. Быть тебе без мужика в доме.

Натали (обняв Пушкина за шею). Возьму и не пущу! Чем тебе не петля? Зачем в Зимнем искать, когда дома есть?

Пушкин. Сладостней петли и не сыщешь!

Натали. Что ж ты из неё рвёшься?.. За все наши с тобой годы она только по твоей шее и была.

Пушкин. Верно ли?

Натали. Женщина может солгать днём, ночью она лгать не умеет. А ты, ночью, счастливый от меня, видишь такие сны! Что за этим, Александр?

Пушкин. Жизнь, мой ангел. За снами – всегда жизнь.

Натали. Когда ты видел, чтоб на бале, на людях, Жорж стягивал с меня перчатку?

Пушкин. А зачем он на людях глазами тебя жадничает? Сны бывают и вещими, а я от крови ревнив.

Натали (не без издёвки). О, я знаю все твои ревности!.. Есть ревность бальная. За мной ухаживают, ты можешь увезти меня когда угодно, но тебе самому не хочется уезжать. Ты в правах на ревность ко мне, поэтому ревновать тебе лень, да арабская кровь обязывает! Ты и отходишь за колонну пораздувать ноздри, а под каждой колонной атласный башмачок таится. Тут воображение твоё подпрыгивает, что жар в лихорадку, и тебя уж самого нигде не сыскать. В карете ты всю дорогу винишь моё кокетство, так, что я и не успеваю спросить: где сам пропадал?.. Зато к ночи: «Теперь, мой ангел, целую тебя! Гуляй, жёнка, только не загуливайся и меня не забывай. Завтра, к Вяземским, причешись а-ля Нинон: ты должна быть чудо как мила!»...

Пушкин. Жёнка! Пощади!

Натали. И не подумаю!.. Есть ревность домашняя: ты уходишь в гнев! Чтобы уйти в гнев, надо хлопнуть дверью так, чтоб посыпалась штукатурка и в гостиных часах что-то звякнуло. Из гнева ты выходишь свежий, отдохнувший и садишься обедать либо едешь к Смирдину порыться в книгах...

Пушкин (привлекает её к себе). Ах ты мой Ювенал!

Натали. Александр! У тебя никаких видов к ревности нет: слава богу, Жорж наконец женился на сестре и счастлив с ней.

Пушкин. Женился по повелению государя! А тот оберегал честь камер-фрейлины двора Катрин Гончаровой: Жорж-то глазами всё тебя жадничал, а уж полгода, как обрюхатил Катрин. Не странно ли?

Натали. Что ж тут странного? Был настойчив в своей любви к ней. К ней, а не ко мне!

Пушкин. Оставь, мой ангел! Лаская Катрин, он в каждой её чёрточке тебя искал.

Натали. Что же он, признавался тебе в том? Или ты по себе знаешь, что так бывает? И по одному своему подозрению ты кидаешься на него из всех углов, что твой Денис Давыдов на Буонапартовых офицеров?

Пушкин (взорвавшись). Нашествие Буонапарта трагедией для России обернулось, нашествие твоего французика на мой дом – светским фарсом. И то сказать! После трагедии часто дают фарс. Общество развлекается! Все лукавые роли нарасхват!

Натали. Возьми и себе лукавую, Пушкин!

Пушкин. Мне оставили единственно серьёзную: роль сожжённой Москвы.

Пауза.

Натали. Александр! Давайте наконец объяснимся.

Пушкин (вдруг устав от вспышки). Бог мой! У тебя с государем один манер говорить мне «вы», коли бушуете на меня. Не бушуй на меня, мой ангел, оставь это его величеству. Он тоже всё «Пушкин» да «Пушкин», а когда я вернулся с Кавказского театра, он и напустился на меня: «Как вы смели проникнуть в армию без моего ведома? Армия моя!»

Натали. Не прячься за Кавказские хребты от главного в нашем с тобой разговоре!

Пушкин (тихо). Это и есть главное, Наташа: «Моя армия! Моя Россия! Мой... Пушкин!»...

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

**КАРТИНА ТРЕТЬЯ**

*Кабинет Николая Павловича. Царь за письменным столом, перед ним несколько раскрытых бюваров с бумагами. Видимо, по разным ведомствам.*

*Входит Пушкин. Не в камер-юнкерском мундире, а в суконном двубортном фраке, рукава с буфами, фалды не достигают колен.*

*Модная городская одежда* – *явный вызов казённой аудиенции у государя.*

*Николай поднял голову, взглядом пробежался по пушкинскому фраку, достал из кармана брегет, поглядел время, удовлетворённо качнул головой.*

Николай (встав от стола). Ценю твоё усердие. Я велел пустить тебя, как явишься, и трёх часов не дожидаясь. Что ж без бумаг?

Пушкин. Я голову принёс, государь.

Николай (кивает на стол). А я вот в бумагах потерялся. Россия имение не малое, и вся на моём столе. Давеча мне даже показалось, что по моему столу Волга протекла. Вся – от истоков до Каспия. И не мёртвая, не с карты, но живая, хоть пальцы мочи. Только в берегах из зелёного сукна. С тобой не случалось подобного?

Пушкин. Я в зависти к воображению вашего величества.

Николай. Ну-ну, не тебе быть в зависти к воображению. Твоё-то воображение впереди веков бежит! (Выдвинув ящик стола, достаёт бумагу. Отставив её далеко от глаз, читает в лорнет.)

«Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык...

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал...».

Эпиграф из Горация: «Екзеги́ монумент». (Бросает листок на стол.) Твоё?

Пушкин. Воистину, у вашего величества на столе вся Россия: от Волги до Пушкина.

Николай. Не дерзи! Что ж сам не принёс? Зачем мне читать твоё в безымянных списках? Боялся, что преследовать стану за «мой жестокий век»? Да ведь куда уйдёшь, он и мой тоже. Вот и не обижайся, коли в печать не пущу, а списки велю изымать. (Смотрит на Пушкина.) «И милость к падшим призывал»... Ты это об каких падших?

*Пушкин молчит.*

(Покачал головой.) Всё не избавишься от декабря?

Пушкин. Россия не избавится от декабря, государь.

Николай. Какая Россия? «От Волги до Пушкина»? Да ведь Россия не простор, она – в людях: Николай, Жуковский, Пушкин, Бенкендорф, мужик – всё Россия! Кто же в ней не избавится от декабря?

Пушкин. Николай, Жуковский, Пушкин, Бенкендорф, мужик.

Николай (пройдясь по кабинету). Я не жесток, Пушкин. Время и сан обязали меня к жестокости. У меня ведь тоже служба: я – император! Каждое утро в девять часов, что и все чиновники, я ухожу в должность. И в должности сей преследую правдолюбцев и лжецов, радивых и нерадивых, сенаторов и трактирщиков. Ибо каждый имеет за собой грех, а я тот грех в подозрении держать обязан. Должность моя высшая, вседержащая. Вседержащая, Пушкин, пойми! Это мне и доброту и милосердие вяжет. А можно ли в наше время управлять людьми, не заслужив доверенности и любви их?.. Нельзя! В том и сложность моего положения... (Остановился перед Пушкиным.) Вот ты... Веришь ли ты в мою дружелюбность к тебе? Отвечай, веришь?..

Пушкин (помедлив). Верю, государь.

Николай (с огорчением). Страх! Страх разомкнул твои уста и сказал за тебя «верю!»... Как кесарю, мне бы и почесть высшим своим достижением твой страх, Пушкин. Что кесарю страх простолюдинов и сенаторов? Страх вольнолюбца – вот высшее достижение кесаря! А по-человечески я в огорчении.

Пушкин. Я не боюсь, ваше величество.

Николай (отмахнувшись). Кандалов, Сибири, бранного поля – не боишься, знаю. Боишься стать верноподданным, подлецом перед собой. Вот и бежишь своего страха – в дерзость, в бретёрство, свободомысленным россом себя почитаешь. Да ведь нет свободомысленных россов, Пушкин! Есть среди россов – свободомысленные. И только. Что они могут? Быть верноподданными. В полную меру своей свободомысленности! И мне ненавистно сие положение, да ведь зато – порядок! Вот и выбирай, мой друг, пора... Выбирай, каким певцом тебе стать: либо певцом моей любви, либо певцом твоей печали.

Пушкин (усмехнувшись). Я горд, государь: ваше величество мои стихи то из стола, то из памяти достаёт.

Николай. Моя память, что Алексеевский равелин: туда единожды только попасть надо. Ну-ну, я не пугаю, да хочу напомнить... (Снова берет листок со стихами, показывает лорнетом строчку.) Вот здесь заместо «Что в мой жестокий век восславил я свободу» было в черновом замысле у тебя «Что вслед Радищеву восславил я свободу»... А? (Смотрит на Пушкина.)

Пушкин. Я не спрашиваю, государь, откуда вам известны мои черновые замыслы.

Николай. И правильно делаешь, что не спрашиваешь: государям вопросов не задают. Но за подмену хвалю: «жестокий век» всё лучше, чем «Радищев». И то сказать: словесность-то наша не в одном Радищеве, слава богу, и Державин был. И с Пугачёвым дрался, и хвалы моей бабке на лире бряцал. А ведь велик, не поспоришь. Брать-то пример господам литераторам есть с кого – с великого. Не зову вас в ногах ползать, зову к державинской честности. Он, к слову, тебе и лиру ещё на лицейском экзамене передал. Куда ж тебе от его благословения? Да и заботы у нас с тобой одни. Ты думаешь, почему мне Волга на столе привиделась? Да потому, что первые пароходы я по ней пустил, А мне сказывали, будто ты где-то заметил: «Дым от тех пароходов нашей татарщине глаза проест». Верно ли?

Пушкин. Верно, государь.

Николай. Так зачем же нам бежать друг друга? Зачем ты поперёк моих дел пишешь? (Потрясает листком со стихами.) Ну почему, почему «чувства добрые я лирой пробуждал»?..

Пушкин. Чем плохо, государь, звать людей к чувствам добрым?

Николай. Да тем плохо, что куда как полезнее для наших с тобой соотчичей звать их к чувствам бодрым! Доброта – это движение души, разомлелость некая. А бодрость – она и солдату, и пахарю, и сенатору впрок. Кто бодр – тот грудь вперёд и отечеству служит. А нам с тобой ведь это и надобно, Пушкин! Я не как цензор, я как гражданин с гражданином с тобой говорю. С добротой-то пароход по Волге не пустишь, мужика к аглицкой машине не пристегнёшь. С бодростью – да! А ты к доброте призываешь. Вот твои стихи и несут вредность прогрессу... (Обмакнув перо, заносит его над стихами. Некоторое время словно сомневается, и – решившись.) Нет, не могу. Хочу, да не могу пустить и это в печать. Тут уж, извини, не чувства, а дело – закон. (Крест-накрест перечёркивает стихотворение, ставит подпись. Подняв голову, смотрит на Пушкина.) Да ты что побледнел? Не дать ли воды?

Пушкин (справившись с собой). Нет... государь. Мне хорошо.

Николай *(захлопывает бювар, куда вложил листок со стихами).* Не моя воля, прости.

*Где-то дворцовые часы бьют три раза.*

(Достаёт брегет, сверяет время. По очереди захлопывает все бювары, лежащие на столе.) Ну вот, в три часа я и выхожу из должности. Ежели еду с визитом после трёх – велю доложить: генерал Романов. Просто и по-житейски. (Расстегнув одну пуговицу на высоком вороте мундира.) Садись! Генерал Романов тебе друг и по дружбе присоветует, как снискать милостей у императора.

Пушкин. Государь! Должность вашего величества не допустила мой «Екзеги́ монумент» в печать. Быть может, выйдя из должности, вы, ваше высокопревосходительство, «просто и по-житейски» пересмотрите сие дело?

Николай. Я бы рад, да боюсь, от Бенкендорфа попадёт: он-то в высших чинах, чем я. Посуди, что может простой гвардейский генерал против генерал-адъютанта? А?.. (Хохотнув.) Ну-ну, за шутку не пеняй, а скажи-ка мне лучше... (Прошёлся по кабинету.) Скажи-ка мне, Пушкин, что такое поэт?

Пушкин. Поэт, государь, – это когда всё, что стало привычкой, вдруг для кого-нибудь одного становится первоначальным. Он удивляется и трогает – речку, зелёный лист, звезду.

Николай. Ах, как ты владеешь и красотой мысли, и красотой изложения, друг мой! Ну, а что такое документы?

Пушкин. Документы, государь,– это осень эпох: жизнь, проходя, опадает жёлтыми листьями документов.

Николай. Я велел, чтоб осень Петровской эпохи опала на твои руки. Да, видно, поэт в тебе так удивился, что ты трогаешь сии жёлтые листы скоро уж пять лет.

Пушкин. Труд историка кропотлив.

Николай. Я был в терпении, да и теперь не корю: без изготовки и борзая далеко не прыгнет. Проступила ли перед тобой фигура пращура?

Пушкин. Да, государь.

Николай. Ну-ну? Только со всей откровенностью.

Пушкин. Пётр Великий есть сам по себе уже история российская.

Николай. Славно!

Пушкин. А российская история удивляла всегда и всех. Истинно, достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности – или по крайней мере для будущего, – вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика.

Николай (пройдясь по кабинету). Однако ты не только мне, ты уж и истории нашей дерзить начал. Коли из-под твоего пера я допущу подобные уколы в адрес пращура, наши с тобой потомки запутаются, кто при ком жил: то ли Пушкин при Николае Первом, то ли Николай Первый при Пушкине.

Пушкин. Не запутаются, государь.

Николай. Ну-ну, слава богу, хоть своё место знаешь. А «самовластного помещика» выкинь, коли не из головы, так из труда своего. Что у тебя там дальше, в голове-то?

Пушкин. Вся история, государь. Да, видно, вашему величеству угодно отдельные места прояснить для себя. Вот хотя бы... избиение стрельцов в тысяча шестьсот девяносто девятом.

Николай. Подавление бунта, Пушкин! Подавление бунта! Говори, как всё было.

Пушкин. Разбитие стрельцов случилось восемнадцатого июня у Воскресенского монастыря. Мятежники отслужили молебен и освятили воду...

Николай. Постой!.. (Некоторое время держит ладонь на глазах.) «Отслужили молебен и освятили воду»... А мои бунтари четырнадцатого декабря прогнали священнослужителей, что я для их увещевания выслал!.. Те-то хоть на бога уповали, а эти – «на святое дело» вышли и без бога в душе! А? Не лицемеры ли? Ну?.. Что ж молчишь?

Пушкин (с каменным лицом). Стрельцы, не внемля увещеваниям генералов Шеина и Гордона, пошли на войско, состоявшее из двух тысяч пехоты и шести тысяч конницы. Генералы, думая их удержать, повелели стрелять выше голов...

Николай (перебивая). Я тоже велел Сухозанету поначалу холостыми над головами бить! А? Ты разве не знал того?.. Ах, как всё повторяется, Пушкин!

Пушкин. Попы закричали, что сам бог не допускает оружию еретическому вредить православным, и стрельцы, при барабанном бое и с развёрнутыми знамёнами, бросились вперёд... Их встретили картечью, и они не устояли. Начались казни. Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя...

*Пауза*

Николай. Да не в сочувствии ли к стрельцам твой рассказ?

Пушкин. Я излагал лишь факты, государь.

Николай. А в стрельцах видел Рылеева с Пестелем, Муравьева да Каховского! А?.. Снова молчишь? Испугался моей догадки?

Пушкин. Видел, государь.

Николай. Молодец!.. Дивишься, что хвалю? Что ж не похвалить, коли у нас с тобой согласно выходит. Ты увидел в стрельцах Пестеля да Рылеева, а я... Помню, вылетев на Петровскую, к восставшим полкам, я вздыбил коня, и вдруг... да-да, именно вдруг, дивный всадник вздыбил коня мне навстречу... (Кладёт ладонь на глаза.) Повитая понизу туманом мне навстречу вознеслась медная фигура пращура. Ах, Пушкин!.. Мгновенный соблазн был велик – почесть себя его отражением. Но я сдержал духовный норов и только бессознательно выбросил, что и он, правую руку вперёд. Совпадение случилось мимо моей воли: я уже был Петром-усмирителем перед восставшими стрельцами... Его боль об отечестве стеснила мне грудь, его воля поднесла меня к Сухозанету и отдала команду: картечью!.. В упор!

Пушкин. Государь! Петра не было у Воскресенского монастыря. Он только скакал из Италии, прознав о бунте. Усмирение пало на руки генералов.

Николай. Да ведь скакал! Значит, и конь был, и порыв к усмирению. А и там, и здесь бунтарские полки тянули Россию назад. Не к благоденствию от нового царствования, а к распрям и жестокосердым усобицам. Ты увидел в стрельцах моих «друзей» по двадцать пятому году, я в Каховском да Рылееве – стрельцов. Благодарствуй! Суть явления одна. Так и напиши это место.

Пушкин. Государь! Но я признался вам не в том смысле, в каком вашему величеству угодно было это обернуть. Стрельцы – те, воистину, тянули Россию назад, к Софье, а четырнадцатое декабря...

Николай (перебивает). Молчи! Молчи! Твоё перо хоть и дерзко, да всё разумнее твоего языка. А ты сейчас можешь на себя понести такое, что хоть сдавай тебя Бенкендорфу под арест. Молчи! Я велю! (Пометавшись по кабинету.) Ну, успокоился?

Пушкин. Я и не выходил из покоя, ваше величество.

Николай. Вот-вот! Я ещё должен заместо тебя и волноваться!

Пушкин. А я... должен ли понять ваше величество в том смысле, что коли у вашего величества уже сложился вид на историю Петрову, то у меня не должно быть своего?

*Смерклось. Служитель вносит зажжённый канделябр. Не дав канделябр поставить на стол, Николай берет его из рук служителя.*

Николай (Пушкину). Вот тебе мой ответ... Смотри! (*Отводит канделябр в сторону на вытянутую руку.*) Видишь, сколь велика моя тень на стене? (*Поднимает канделябр над головой, показывает на свою тень, брошенную игрой света на пол, к ногам Пушкина*.) А теперь я, государь всея Руси, маленький, головой твоих сапог касаюсь. Тени прошлого в твоих руках, Пушкин. А уж свечу, прости, я держать буду. (*Ставит канделябр на стол; усмехнувшись.*) «Вид на историю»! Истинно, зачем тебе иметь, коли у меня уже есть? Одолжись у меня хоть этим. Я-то у тебя одолжусь большим: пушкинским слогом! Кстати, в заботах о твоём деле я ревизию домашним архивам сделал. Вот... (*Распахнув один из многочисленных бюваров, достаёт бумагу.*) Может, и сгодится тебе... Здесь записано видение батюшки моего Павла Петровича. Он тогда ещё великим князем был. Однажды, выйдя после пирушки с князем Куракиным, он приметил подле себя и другого спутника. Тот был высок, закутан в плащ, на лице его лежала тень от старинной треуголки... Куракин ничего не приметил, а высокий довёл батюшку до того места, где нынче Фальконетов памятник Петру. Медный всадник уж тогда был заложен... Сняв треуголку, высокий обнажил лицо и оказался Петром Великим. Он благословил будущего Павла Первого. *(Протягивает Пушкину бумагу.)* Документу можно верить, он записан со слов самого Павла Петровича баронессой Оберкирх. А баронесса была наперсницей детских игр моей матушки. (*Задумчиво*.) Пётр Первый, Павел Первый, Александр Первый, Николай Первый... Не из небесной ли канцелярии такая нумерация, а? Первые – сиречь изначальные. Не определяются ли так свыше начала новых эпох? Да ты что встал? При генерале Романове можно и сидеть.

Пушкин. Генерал Романов вышел. Заместо него вошли сразу четыре государя.

Николай (кладёт руку на плечо Пушкину). И все четыре готовы довериться историографу Пушкину. Игра на твоих руках: с четырёх королей кряду можешь пойти. А?.. (Потрепав Пушкина по плечу.) Я рад был тебя видеть. Отобедать не останешься ли? Да хочу упредить: у меня сегодня без сладкого. Два дни на неделе я велел семье без десерта обходиться. И знаешь, большая экономия по кухне выходит.

Пушкин. Если бы я осмелился пригласить ваше величество к себе, российская корона была бы сегодня и при десерте.

Николай. Вот тебя и приходится за уши из долгов тянуть. Знаю, что столовое серебро заложил, а десертом на столе похваляешься. Ну да «История Петрова» все прорехи в твоей казне залатает. Ступай. Листы с главами будешь передавать мне через графа Бенкендорфа.

Пушкин. Ваше величество! Увольте меня от посредничества графа в нашем с вами деле.

Николай. Да чем тебе Александр Христофорыч не люб? Прекрасный человек!

Пушкин. Государь! Один литературный деятель и делец говорил Ивану Ивановичу Дмитриеву о своём приятеле и сотруднике: «Вы не судите о нём по некоторым выходкам его. Он, спора нет, часто негодяй и подлец, но в нём добрейшее сердце. Утверждать, что он служит в тайной полиции, сущая клевета! Никогда этого не было. Правда, что он просился в неё, но ему было в том отказано. Конечно, никому не посоветую класть палец в рот ему: непременно укусит. Недорого возьмёт он, чтобы при случае продать и продать тебя: такая уж у него натура. Но со всем тем он прекрасный человек и нельзя не любить его».

*Пауза.*

Николай. Анекдот твой мне скверен. Но быть по-твоему: приноси сам. Да бумаги неси, а не голову. Бумагу править – ей не больно, а голова от правежа и разболеться может. Подумай о своей голове, Пушкин!

*Поклонившись,* Пушкин*, отступая, выходит.*

*В проёме двери, открытой во время аудиенции во внутренний покой, появляется фигура Бенкендорфа.*

(Кивает вслед ушедшему Пушкину.) Как он тебя, а?.. Ну да бог с ним! Я ему многое прощаю, прости и ты.

Бенкендорф (приветливо улыбаясь). Не вижу в забавном рассказе Александра Сергеевича намёков на мою личность, государь. Ведь тот «просился в полицию, да его не взяли», а я сам шеф над всеми полициями. Александр Сергеевич просто рассказал вашему величеству анекдот из нынешних литературных нравов. Ведь это литературный деятель говорил о своём сотруднике... Пожалеем господ литераторов, ваше величество.

Николай. Ну-ну, ты добр к Пушкину, я рад. А меня, признаться, он часто в раздражение вводит. Как тебе его историографические начала?

Бенкендорф. Интересны, государь. Но душок карбонаризма и до тех покоев дотянулся. А ведь это всего лишь изложение изустное и неполное.

Николай. Мда. Ну что же, пусть пишет. Писаное слово и прочеркнуть можно, и другим словом заменить.

Бенкендорф. Пушкинское слово, государь, только пушкинским заменить и возможно, иначе в слоге перебои пойдут. А прочерки... (Приветливо улыбнувшись.) При необходимых прочерках, ваше величество, боюсь, что от труда его ничего и не останется.

Николай. Мда. Что присоветуешь?

Бенкендорф. Недавно, ваше величество, по представлению графа Сергея Семёновича Уварова вы изволили выразить монаршее благоволение историку Устрялову за первый том его истории российской.

Николай. Разве?.. Да-да, всего просвещения одним Пушкиным не насытить. Хороша «История»? Ты читал?

Бенкендорф. «История» хороша, ибо история российская дурна быть не может. Правда, писана дурно, но человеком благонадёжным.

Николай. Я всё никак не возьму в толк: гении, что ли, перевелись на Руси? Только Пушкин и есть?

Бенкендорф. О гениях по состоянию тайной полиции судить можно, ваше величество. Коли перевелись бы гении, и полиция пришла бы в упадок. А моё ведомство в расцвете сил и здоровья.

Николай. Что за несчастье моему царствованию! Как литератор одарён богом, так он в якобинцы норовит. А ущербные от бога на десять аршин вирши верноподданнические строчат. И ведь хвалишь! А что делать?.. Мне бы вон Кукольника в карцер посадить за дурные стихи в его патриотической драме «Рука всевышнего отечество спасла». Да ведь патриотическая! Я за неё автора перстнем с бриллиантом и пожаловал. Да ещё велел прикрыть журнал, что по делу пощипал драму его. Тут и твоя вина, Александр Христофорыч, что только люди без искры божьей в душе хвалы нам поют!

Бенкендорф. И пусть поют! Их много, пение-то громкое получается. Булгарины на весах живым мясом Пушкиных перетянут. А уж о крике и говорить нечего: переорут!

Николай. Да хорошо ли то? Я ведь уж и немолод.

Бенкендорф. Хорошо, государь. Покойно. Недавно Нестор Васильевич Кукольник, в патриотическом порыве, сказал мне: «Прикажут – завтра же буду акушером»!.. С таким поэтом и дело приятно иметь.

Николай (с нарастающим раздражением). Да-да, а граф Сергей Семёнович Уваров выразил мне как-то своё пожелание, чтобы наконец русская литература и вовсе прекратилась. А ведь министр просвещения!.. Что ты, что Уваров – пытаетесь жизнь себе облегчить. Что мне твой Кукольник? Мне Пушкин нужен! Пойми, Александр Христофорыч, нужен! Надобен! Необходим! И не робость его, не повиновение, но сердце!

Бенкендорф. Ум Пушкина, государь, в печать не запретишь: увёртлив! Всякий раз сердце его приходится запрещать. Оно не ваше, государь.

Николай. Знаю... На жизнь его не укротить. Да хотя бы на произведение! Ведь коли Александр Пушкин поддержит дом Романовых, так и Александру Второму, Сашке моему, легче будет со своими якобинцами управиться.

Бенкендорф. Я в почтении к дальновидности вашего величества, да что делать?

Николай. Поосвободи-ка вожжи на нём. Твой надзор тайный, а Пушкин об нем что о явном судит. Ты виноват, не спорь!.. Россия – клетка обширная, прутьев в ней не видно, пусть и прыгает посреди клетки, что на воле. Дальше Нерчинска, Соловков, Петропавловской да немирных черкезов никуда и не денется. Поосвободи на нём вожжи, Александр Христофорыч!

Бенкендорф. Слушаюсь, ваше величество.

Николай. Ступай!

*Бенкендорф, поклонившись, отступает к выходу.*

Погоди!.. При случае всё же Устрялова приведёшь ко мне. Я графа Сергея Семёновича давно не баловал, а он печётся о просвещении. Надо бы обласкать его протеже.

Бенкендорф. Государь! Экстраординарный профессор Санкт- Петербургского университета господни Устрялов имеет высокую честь находиться в приёмной вашего величества.

**КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ**

*Питейное заведение невысокого пошиба. Нечто вроде кабинета, отгороженного, от общей залы дощатой перегородкой и ситцевой занавесью.*

*Раздёрнув занавесь, половой вводит в «кабинет» Пушкина и двух дворцовых ламповщиков* – *Ефрема и Мефодия. Всё внимание полового к Пушкину, птице*, *видно, здесь редкостной. Ламповщики сваливают тулупы на лавку. Половой принимает от Пушкина шубу, с бережением кладёт её сверх тулупов.*

*Гости рассаживаются.*

Ефрем (Пушкину). Ну что, увели мы тебя, Лександра Сергеич?

Пушкин. Увели! (Хохотнул.)

Мефодий. Ефрем, ты его спроси, чего склабится?

Ефрем. А склабится – значит, приятно ему, что мы его увели.

Мефодий. А почто с нами увязался?

Ефрем (Пушкину). Ты почто с нами увязался? Мы-то озоровали, когда тебя цыкнули за собой.

Пушкин. И я озоровал.

Ефрем. Ладна!.. Наше-то озорство бесплатное, а твоё денег стоит: ставь штоф и пожрать чего. Ламповщики государевы жрать горазды. Аль не слыхал?

Пушкин. Нет, не слыхал.

Ефрем. Ну, теперь знать будешь. Может, чего в уме от того знания прибавится, а?.. (Хохочет.)

Половой. Что будет угодно-с?

Ефрем. Грешневой каши на крови с костным мозгом. Еда!

Мефодий (восторженно). Еда!

Половой. Щей по-потемкински не прикажете ли?

Мефодий. И прикажем! И прикажем!

Ефрем (половому). Да ведь мы не с опохмелу, мы с почином к вам.

Мефодий. Верна! Я в загул дни на три иду. Вели к утру щей потемкинских.

Ефрем (половому). Слыхал?

Половой. Как не слыхать? К утру-с будут в самый раз.

Ефрем *(половому, строго, рисуясь перед Пушкиным ролью знающего заказчика).* Да как их дёржите, щи-то?

Половой (в свою очередь, рисуясь перед Пушкиным). У нас фирма-с! Держим в суле́ях[[1]](#footnote-1) стеклянных и не на морозе, а в холоду. Подаём в глиняных кружках глазурованных, чтоб, значит, без ложек, а губами хватать. Можно с солонинкой крошеной, а можно с паровой говядинкой, разварной. Те подороже-с. (Пушкину.) От них и сытость и кислица с прохладой во рту-с.

Мефодий. Пущай по две кружки подаст: и с солонинкой и с коровятиной разварной. Те постуденистей будут.

Ефрем *(половому, строго).* Слыхал?

Половой. Слыхал-с.

Ефрем. Да осётра небольшого, цельного пущай запекут в тесте на поду.

Половой. Слушаю-с!

Мефодий. Еда!..

*Половой убегает.*

Ефрем! Ты флигель-адъютанта спроси всё ж: чего с нами увязался?

Ефрем. А чтоб водки тебе поставить с кашей да подовым осётром. Не уразумел ещё?

Мефодий. Ну, коли так, пущай сидит. Не лишний.

Ефрем (Пушкину). А ты, Лександра Сергеич, истинно, чего с нами увязался? Заведение, сам видишь, чёрное, не господское, мы и на свои погуляем. Али дело у тебя к нам?

Пушкин. Дело.

Ефрем. Ежели ты про лампу масленую, висячую, что мы с Мефодием собрали, – так её уж, прости, барон Вревский, Пал Николаич, сторговал.

Пушкин. Другое, Ефрем: сказывали мне, будто ты похвалялся колядой, с которой мужики к самому царю Петру хаживали?

Ефрем. Верно, есть такая коляда, где Пётр Лексеич, царь-государь, помянут.

Пушкин. Споёшь ли?

Ефрем. Что ж не спеть? (Напевает.)

Коляда, коляда!

Пришла коляда

Во канун рождества.

Мы ходили, мы искали

Коляду святую

По всем дворам, по проулочкам.

Нашли коляду

У Петрова-то двора...

Петров-то двор железный тын,

Посередь двора терем стоит,

А в том терему Пётр-царь сидит,

Царь-государь

Свет-Лексеевич...

Мефодий *(подхватывает).*

Слава богу на небеси,

Слава!

Государю нашему на сей земли,

Слава!

Чтоб нашему государю не стареться,

Слава!

Его цветному платью не изнашиваться,

Слава!

Его добрым коням не изъезживаться,

Слава!

Его верным слугам не измениваться,

Слава!

Ефрем *(навстречу половому, вошедшему с водкой и кренделями на подносе).*

А эту песню мы хлебу поём,

Слава!

Хлебу поём, водке честь воздаём,

Слава!

*(Разливает водку по чарам, одну ставит Мефодию под руку, под руку же кладёт ему и кусок кренделя).* Ну, с почином!

*Пьют.*

Мефодий (закусив кренделем). Ефрем! Ты спроси у флигель-адъютанта, на кой хрен ему коляда-то?

Ефрем. Господин Пушкин не флигель-адъютант, он камо́р-юнкер. А коляду он запишет и в книжку при надобности вставит: пиита он!

Мефодий. Песни, стало быть, ворует.

Ефрем. Песни – они ничейные, их что воровать. А случится, я позабуду, ты позабудешь, глядь – а они за Лександром Сергеичем записаны.

Мефодий. Да я ничего, то воровство доброе. А сам-то он стих сложить может?

Ефрем. Лександра Сергеич, уважь, а?..

Пушкин.

Ходил Стенька Разин

В Астрахань город

Торговать товаром.

Стал воевода

Требовать подарков.

Поднёс Стенька Разин

Камки хрущатые,

Камки хрущатые –

Парчи золотые.

Стал воевода

Требовать шубы.

Шуба дорогая:

Полы-то новы,

Одна боброва,

Другая соболья...

Ефрем (вежливым смешком прервав Пушкина). Ты уж извини нас, грешных, этого товару мы и сами можем тебе сколько хошь накидать. А ты бы нам чего-нибудь господского. Нам ведь интересно, как вы там с бабами, ну... и протчее.

Пушкин. Что ж, изволь... Да хотя бы это:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Ефрем (помолчав). А баба-то ничего была?

Пушкин (улыбнувшись). Ничего.

Мефодий. Жива или померла?

Пушкин. Бог с тобой, жива!

Ефрем. Тогда во здравие! *(Снова разливает водку по чарам.)*

*Пьют.*

(Пушкину.) Уважил ты нас. Спасибо.

Пушкин. А понравилось ли?

Ефрем. Да как тебе сказать... Ты уж прости нас, Лександра Сергеич, а мы в этих самых случаях без стиха обходимся. И ничего, знаешь, детишки растут.

Мефодий. Нет, Ефрем, тут я с тобой несогласный. При стихе оно вроде бы как при лампаде горящей, при боге. Всё ж при стихе ты не кобель, а человек... «В душе моей угасла не совсем»... Надо ж те, а? Нет, Ефрем, ты скажи ему, что я с тобой несогласный.

Ефрем. Несогласный он со мной, Лександра Сергеич.

Пушкин. А зачем друг твой Мефодий через тебя со мной говорит?.. Что ты за толмач такой с одного языка на тот же самый?

Ефрем. Да вишь, какая штука... Говорить-то хорошо с тем, кого видишь. А Мефодию хворь глаза выела, слепец он. Сразу оно, конечно, и не приметишь, глаза у него с виду живые, а только взору в них нет, в тьму они у него упёрты. Меня-то он помнит, каков я, потому с другими через меня и разговаривает.

Пушкин. Как... слепец? Да ведь он дворцовый ламповщик?

Ефрем. Эх, Лександра Сергеич! Мученье свет, а немученье тьма. Мученики светлы на Руси. Мефодий мученик, потому он и сам светел и свет чует. Он дланью ламповой огонь видит, он пальцами в лампаде такое ровное огненное семечко выпестует, что и богу любо и человеку приятно.

Мефодий. Ефрем! Ты ему пальцы мои покажь.

*Ефрем с бережением берёт руку Мефодия, показывает её Пушкину.*

Пушкин. Чёрные!

Мефодий. Ефрем, ты скажи ему, что свет – он горяч, он пальцы жжёт. Черны мои пальцы, а ослепления в них нет, зрячи они – и на свет, и на водку, и на хорошего человека. (Гоготнув.) Пусть ещё ендову ставит!

Пушкин (вскочив, ошеломлённо). Слепцы на Руси лампами ведают!..

Ефрем. Ты что, Лександра Сергеич? Ай потерялся от Мефодиева жития?

Пушкин. Потерялся?.. (Хохочет.) Нашёлся, нашёлся! От слепца прозрел!.. Слепцы на Руси лампами ведают!

Ефрем. Ну и ладна!.. (Разливает водку.) Пей, Лександра Сергеич. Ты, поди, к шампанее привык, так она что, одни пузыри. А водочка штофная – она что серебро литое, от неё богатство душе!.. (Подставляет одну чару Мефодию, тот её отставил.)

Мефодий. Погодь!

Ефрем (посмотрел на Мефодия, взял Пушкина за руку, показывая на слепца. Тихо). Ты, коли истинно песню записать хочешь,– пиши. Он сейчас песню в себе собирает.

Вбежал половой с подносом, на котором горшок каши и ещё штоф. Ефрем на него вскинулся, тот застыл.

(Склонился к Пушкину.) Знаю я эту песню... От перехожих слепцов он её перенял, она про очи свои ясные да зрячие. Эва как!.. Иной слепец куражится, не желает, чтоб его ущербным почитали.

Пушкин (тихо). Да ведь тот кураж и для себя невесёлый и другим может в урон стать.

Ефрем. Истинно так... (Кивнув на Мефодия, ещё тише.) Сколько он ламп да лампад во дворце своими лапищами передавил – и сказать-то страх! Да ведь без греха: слепец! Все его и покрывают, мученика-то нашего... Ты пиши, пиши...

*Пушкин достал из кармана четвертушку бумаги, карандаш, приготовился писать.*

Мефодий *(запел).*

Что мои-то ясны очи заглядчиваты,

Что очи завидят, то на очи берут!..

Через речушку жестяночка лежит,

Что никто по той жестяночке не пройдёт.

Только шли-прошли стары бабы,

Стары бабы старобразы.

Ещё сметь ли спросить старых баб,

Ещё что в городу вздорожало?

Вздорожали, вздорожали молоды бабы:

На овсяный блин по три бабы,

А четверта провожата,

А пятая на придачу.

Что мои-то ясны очи заглядчиваты,

Что очи завидят, то на очи берут!..

Ещё шли-прошли молоды бабы.

Ещё сметь ли спросить молодых баб,

Ещё что в городу вздорожало?..

Вздорожали, вздорожали добры молодцы:

Ещё восемь молодцов на полденьги,

А девятый провожатый,

А десятый на придачу...

Что мои-то ясны очи заглядчиваты,

Что очи завидят, то на очи берут!..

Ещё шли-прошли добры молодцы,

Ещё сметь ли спросить добрых молодцев:

Ещё что в городу вздешевело?..

Вздешевели, вздешевели красны девушки,

По сту рублей красна девушка,

А в торги пойдёшь – так по тысяче...

Что мои-то ясны очи заглядчиваты,

Что очи завидят, то на очи берут...

*Стало тихо. Пушкин так ничего и не записал. Сидит задумавшись, подперев голову кулаком. Не пошевелится половой. Задумался Ефрем.*

(Шумно втянул носом воздух; говорит явно для куражу, думая о другом и невесёлом.) Ефрем!.. Матушка-каша пришла... Грешневая, на крови, с костным мозгом... Еда!

**ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ**

**КАРТИНА ПЯТАЯ**

*Гостиная в доме Карамзиных. Екатерина Андреевна Карамзина. Входит только что приехавшая Натали*.

Карамзина (встаёт ей навстречу). Я рада вам.

Натали. Мне Софи прислала записку, чтоб я была к ней немедля.

Карамзина. Верно, дочь посылала за вами.

Натали. Что случилось? Только говорите правду, не надо меня готовить... Пушкин... у вас?

Карамзина (удивлённо). Пушкин? Нет.

Натали (облегчённо вздохнув). Это мне и в утешение и в ещё сильнейшую тревогу... Он исчез. Вчера Жуковский, душа, уж побывал у Вяземских, Вревских, объездил всех знакомых рестораторов...

Карамзина (мгновенно встревожившись, но пытаясь успокоить Натали). Кабы что случилось, государь уж про то знал бы: за Пушкиным везде и глаза и уши графа Александра Христофорыча.

Натали (растерянно усмехнулась). Да-да... Порой и тайный надзор во благо!.. Софи у себя?

Карамзина. Вам туда не след ходить: у ней Дантес.

Натали *(опускается в кресло).* Это коварно!

Карамзина. Потому я вас и поджидала, прознав о записке. Вы... можете уйти. Я не скажу Софи, что вы были, и прислуге не велю говорить. Пришлите с Никитой ответ, что не смогли приехать.

Натали (помолчав). Я хочу видеть Жоржа.

Карамзина. Тогда простите мне, что я вмешалась.

Натали. Нет-нет, я побуду с вами, коли позволите, а Жорж по уходе нас не минует. (Словно извиняясь.) У меня ноги не идут туда, а видеть его мне надобно.

Карамзина. Да зачем же?! Свет и так скандализован его поведением после женитьбы на вашей сестре.

Натали. Скажите уж, и моим поведением.

Карамзина (суховато) Да.

Натали. Катерина Андревна! Помните, вы через Александра писали мне слова привета, сразу же после нашей с ним свадьбы?.. «Александр! Я Вас уполномочиваю быть моим толмачом перед госпожой Пушкиной... Она найдёт во мне сердце, готовое любить её всегда, в особенности если она ручается за счастье своего мужа»... Истинно ли вы приглашали меня тогда к вашему сердцу?

Карамзина. Тогда – нет, нынче – приглашаю заново.

Натали. Ну вот я и пришла... Записка Софи – случай. Почитайте, что я пришла к вам. Катерина Андревна, голубчик, я... не могу «ручаться за счастье своего мужа». Спасите нас!

Карамзина (ревниво). Вы... любите Дантеса?

Натали (утерев проступившие слёзы, рассмеялась). Вы меня к Жоржу паче Пушкина ревнуете!

Карамзина. Так в чем же дело?

Натали. Я и сама не пойму... Пушкин мне давеча в снах признавался... Ему всё дуэль снится.

Карамзина. Господь с вами обоими! Зачем же дуэль?.. С кем? С Жоржем?

Натали. Нет, с самим собой. Он репетирует дуэль перед зеркалом. Два Пушкина одновременно поднимают пистолет и целят друг в друга.

Карамзина. Этого быть не может!

Натали. Да, он так и сказал: в России Пушкин не может убить Пушкина. Он... эту роль Жоржу предназначил.

Карамзина. Натали, вы безумны!

Натали. Я проникла его игру! Он ревнив к Жоржу при посторонних, кто мог бы разнести по гостиным. Дома же – мир да покой.

Карамзина. Уезжайте немедля! Вы не должны боле видеться с Жоржем! Нигде, никогда!

Натали. Я должна свидеться с Жоржем.

Карамзина. Да зачем же, коли всё так напряглось?

Натали. Я не могу вам этого сказать.

Карамзина. Хорошо. Я вам верю. Я в вас верю.

Натали. Это от сердца?

Карамзина. Да.

Натали. Тогда я вам ещё откроюсь... Он никому, кроме меня, не позволяет прикасаться к столу, когда работает. Я сама, гусиным пером, осторожно прибираю пыль из-под бумаг. И вот вчера... я под бумагами нашла черновик письма к Геккерену-отцу. Черновик писан с ломкой перьев об лист, с раздуванием ноздрей. Бешеный!

Карамзина. Вот видите! Вы не правы в догадке, что он ревнив к Жоржу только при посторонних. При письме посторонних не бывает.

Натали. Нет, я чувствую: Геккерены – это исход, где можно выкричаться... Катерина Андревна! Отчего крик в душе его?.. У меня в глазах померклось... «Господин барон! Позвольте подвести итоги тому, что произошло»... Письмо поносное... Отца он называет «старой развратницей», «сводней», а Жоржа «трусом», «негодяем» и... не могу даже произнесть! Коли Геккерены получат это письмо, у них иного выхода не станет, как послать вызов.

Карамзина. По своему званию посланника барон не может драться. Вызов исключён!

Натали. В письме он пишет: «Я заставлю вашего сына играть такую жалкую роль»... Роль!.. Драться будет Жорж. Я сверилась в дуэльном кодексе. Право на вызов оскорблённая сторона может передать члену семьи или другу.

Карамзина. Да не в тревоге ли вы за Жоржа?

Натали. Господь с вами! У меня дети. Четверо. Они – Пушкины!

Карамзина. Быть может, черновик писан до женитьбы Дантеса на вашей сестре?

Натали. Да, черновик старый. Как раз заехал Жуковский, я ему открылась в находке. Жуковский признал в черновике письмо ещё от ноября месяца, когда Пушкин поделился с ним этим письмом... Жуковский тогда отговорил Пушкина. Я уж было и пришла в себя, как Василий Андреич сам побелел, нашедши в черновике... (Задохнулась.)

Карамзина. Что?!..

Натали. Свежие правки. Вы... давно видели Пушкина?

Карамзина (вспоминая). Ннет... Александр на днях был у меня. Заехал сразу из филармонической залы Энгельгардта, после утреннего концерта... Концертировал Джон Филд. Александр был возбуждён необычайно... ещё бы! Полагают, Филд самому Листу соперник... Заехал-то он порыться в библиотеке Николая Михайловича, но всё время проговорил об концерте...

Натали (ревниво). Мне он ничего не сказывал!

Карамзина. Видно, здесь выговорился и поостыл... Да я сыну в Париж отписала пушкинское суждение о Филде. *(Подходит к столику с серебряным подносом, на который, видно, сбрасывается готовая к отправлению вся домашняя корреспонденция. Перебирает письма.)* Коли его ещё не снесли на почту... Нет, вот оно! *(Достаёт из пачки конверт, вскрывает.)*

Натали. Зачем же вы!

Карамзина. Недолго снова запечатать. А коли верно то, что я вспомнила, письмо и к нашему разговору будет... (Пробегает письмо глазами.) «Милый Андрюша...».

Натали (вежливо). Что он там?

Карамзина (ищет нужное место в большом письме). Славно... И Париж и общество ему пришлись... (Найдя.) Вот: «Андрюша! Заезжал Пушкин. Вот тебе его вдохновенное суждение о филдовском концерте... Записала после его отъезда, как могла, прости. Пушкин сказал: «Я впервые видел, как играет Филд. Я впервые видел диалог музыканта с инструментом, диалог Филда с роялем.

Поначалу они шептались, об чём-то сговариваясь. Рояль был серьёзнее Филда. Филд водил руками по клавишам небрежно, словно массировал или щекотал их, поддразнивая, а рояль отвечал всерьёз, словно упрекая Филда в небрежении.

Потом они подружились и вместе внутри серьёзного произведения как бы принялись разыгрывать импровизацию, этюды.

Потом снова что-то случилось... Рояль сопротивлялся так, как художнику сопротивляются краски, линия, поэту – слово. Пианист был творцом, а у творца всегда возникает острый, Шекспировый диалог с материалом, из которого он творит. Микельанджело дрался с мрамором, высекая долотом и молотом ту единственную линию, которую он прозрел внутри глыбы. Руки пианиста перестали быть просто руками, это были могучие длани, опускавшиеся на клавиатуру с единственной волей: обратить знакомую всем мелодию в свою веру, обернуть её к людям своей мыслью, своей совестью, своей правдой...

Дамы часто музицировали при мне это произведение. Под розовыми пальчиками верхний регистр поблёскивал путаной канителью, которую очаровательные музыкантши никак не могли распутать, нижний звучал так, словно с ёлки на пол сыпались серебряные орехи...

У Филда в этой части снова разладились отношения с роялем. Пианист низко наклонился к инструменту и что-то шёпотом стал объяснять ему, уговаривая. Но рояль был непреклонен: верхний регистр острил, рассыпая веером шпильки, нижний – грохотал, как дуэльные пистолеты...». (У Карамзиной опустились руки.) Это то место, из-за которого я распечатала письмо. Вспомнила, да подумала, что ошиблась. Теперь видно: у него дуэль из головы пойдёт.

Натали (кивнула на письмо в руке Карамзиной). Он тут жизнь свою выговорил!.. (Схватившись.) Катерина Андревна, голубчик, я поеду. Вдруг он уже дома?

Карамзина. А Дантес?

Натали. Что?.. Вы ведь не хотели, чтоб я с ним свиделась.

Карамзина. Вы должны с ним говорить, Наташа. Коли не всё, так многое нынче в ваших руках. (Прислушивается.) Сюда Жорж! Я оставлю вас. (Выходит.)

Натали. Господи, что же я ему скажу?.. (Пытается ладонями остудить щёки. Решительно.) Жорж!.. (Срывает с шеи крестик, протягивает воображаемому собеседнику.) Целуйте крест... Да целуйте крест, а не меня в нём! И клянитесь!.. Клянитесь, что все письма и записки из нашего дома вы будете отправлять обратно не распечатав. Это моя воля!.. Нет, я... молю вас об этом. (Обессиленная, опускается в кресло.) Я словно ночью, одна, в возке, посередь зимней дороги. И лошади понесли!

**КАРТИНА ШЕСТАЯ**

*Поздний вечер. Набережная Мойки неподалёку от дома Пушкина. Мост, ведущий к Дворцовой площади. Одинокий фонарь. Глухой стук копыт, скрип полозьев по снегу. Где-то рядом остановились сани.*

*В одной шубе появляются Пушкин и Устрялов. Пушкин немного хмелен. Схватившись за фонарь, сбрасывает с себя край шубы. Шуба повисла на плече Устрялова.*

Пушкин. Благодарствуйте, сударь мой. Я почти и дома.

Устрялов. Не угодно ли, чтоб я до самых дверей вас проводил, коли вы подъехать не захотели?

Пушкин. Не угодно. Хочу с фонарём побыть. Я, когда вечерами прогуляться выхожу, воображаю себя тенью от этого фонаря.

Устрялов. Да ведь тень и темна и плоска.

Пушкин. Тёмен я от природы, а в наш век, коли сам плоским не станешь, – расплющат. Вот и воображай себя тенью от фонаря.

Устрялов. Грустно размышлять изволите, Александр Сергеевич.

Пушкин. Мы разве знакомы? Простите великодушно, да я... запамятовал.

Устрялов. Незнакомого, да ещё без шубы, я бы к себе в сани не подсадил. Но не казните себя, знакомство наше только с одной, с моей стороны. Я-то вас знаю!

Пушкин. Не откажите назвать, кому я обязан теплом и проводами?

Устрялов. Экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета Николай Герасимович Устрялов.

*Пушкин молчит.*

(Полагая, что недостаточно представился.) Покровителем моим, графом Сергеем Семеновичем Уваровым, был представлен его величеству первый том моей «Русской истории», и коли вы изволите пробегать глазами «Санкт-Петербургские ведомости», то пятого генваря сего года профессор Устрялов получил монаршее благоволение за сей том.

Пушкин. Да-да, пробегал глазами, да споткнулся и чуть глаз не вывихнул.

Устрялов. Александр Сергеевич!

Пушкин. Боле того: и «сей том» я прочёл. Каждого царя вы что икону пишете и тут же сами молитесь на неё до расшибания лба.

Устрялов. Не вижу беды в том, что каждого помазанника превозношу до сияния вокруг головы.

Пушкин. Беда в другом, Устрялов: что ваше писание икон нас не Рублёвым подарило.

*Тягостная пауза.*

Устрялов. Да не холодно ли вам, Александр Сергеевич? А то возьмите край шубы.

Пушкин. Извольте! *(Накидывает на себя половину предложенной шубы.)*

Устрялов. Жаль, что разговор наш таким лабиринтом пошёл. Нас нынче случай свёл, а я к вам собирался с предложением. Жаль-жаль.

Пушкин. Предлагайте, профессор.

Устрялов. Что ж! И предложу. Мы с вами историографией занимаемся, да всё в старь лезем. А не написать ли нам совместно историю нынешнего времени, а?

Пушкин (не без иронии). Нынешнего царствования, а?

Устрялов (не заметив иронии). Поправка дельная! Славная поправка, Александр Сергеевич!.. (Высвободившись из шубы, взволнованно прошёлся, потёр руки.) Может статься, мы уж и труд свой начали с вашей поправки?.. «Нынешнего царствования»!.. В корень смотрите, Александр Сергеевич. При таком обороте государь и редактуру самолично станет держать. А как же-с: нам виднее его деяния, ему – его помыслы... Я на себя возьму первый том. Да, да, не спорьте, я понимаю вашу неловкость писать об четырнадцатом декабря. Много друзей ваших стояло тогда перед Сенатом, вам невозможно истинно об них написать. А вы на себя возьмёте период с тридцатого года по сей день. Тут уж, как говорится, вы в милостях пребывали, камер-юнкерством удостоены были.

Пушкин (продолжая ироничную игру). Честь-то велика, Устрялов.

Устрялов (серьёзно). Велика, не спорю. Я в зависти к вам, да завидую по-хорошему. Вы сами где-то изволили заметить, что «зависть – сестра соревнования, значит – хорошего роду».

Пушкин. Да хороша ли зависть к камер-юнкерскому мундиру?

Устрялов (дрожа то ли от холода, то ли от волнения). Хороша, Александр Сергеевич, хороша!..

Пушкин. Идите-ка в шубу, профессор, у вас зуб на зуб не попадает...

Устрялов (накинув на себя край шубы). Ну как, Александр Сергеевич, по рукам?

Пушкин. Нет, Устрялов: я и по России и по Третьему отделению числюсь без соавторов. Почитаю долгом ещё раз благодарить вас за шубу и проводы, но я вам не союзник.

Устрялов (помолчав). Понимаю. Понимаю небрежение птицы райской к воробью. Я не в обиде. Понимаю также, что благонамеренность трудов моих вы не более чем словесной водицей почитаете. И коли этой водицей и разбавить спирт суждений ваших? Напиток-то получится как раз для России: он и акцизному впрок и государь не побрезгует пригубить. Да и граф Уваров забыл бы вашу стародавнюю эпиграмму, коей он чувствительно задет был.

Пушкин. Так вот каким ветром вас ко мне поднесло!

Устрялов. Я не челнок утлый, чтоб крутиться с ветром, я – профессор, Александр Сергеевич! Я по совести, по долгу гражданскому к вам собирался, а не по чьему-нибудь высшему наущению, как вы меня заподозрить изволили!

Пушкин. Воистину, от Ломоносова до Устрялова. В пропасть летим, профессор, а?

Устрялов. Вы меня Ломоносовым не корите! Он – десьянс академик, одиночка, а мы – профессоры ординарные. «Ординарные»! Вдумайтесь в сие слово, в его смысл. А?.. То-то! Но всё же «профессоры»! Сила, и не только над студьозусами: труд-то ваш исторический мне, историку, судить отдадут. Для вас, литератора, сие любительство, а профессор над вами – я-с!

Пушкин. Устрялов! Профессор! Глупости изволите говорить!

Устрялов. А профессорская глупость всё равно учёностью почитается. Она ведь профессорская!

Пушкин *(расхохотавшись).* Браво!

Устрялов. Так не согласны?

*Пушкин (продолжая смеяться).* Нет.

Устрялов (в нём начинает прорываться сдерживаемое до сих пор раздражение). А вам бы не заноситься, Александр Сергеевич, надобно, а прощения у людей просить!

Пушкин. Да в чем же я повинен перед людьми?

Устрялов. Талантом! Великим талантом вашим! Да-с! Инквизиция не еретиков сжигала, а таланты великие. И права была: талант – он сам себя не осознаёт, он преждевременно чудеса рождает и прочих в смущение вводит: где, к примеру, мне вас догнать? Задохнусь!.. Вы и видите всё иначе, и шествуете, что Христос по водам, там, где и пути нет. По инквизиции так и было: занёсся – стань прахом, тем и прощён будешь!

Пушкин. Что ж, по-вашему, и Христос еретик?

Устрялов. Нет-с, талант. Вот и распяли. Посредственностей-то больше, Александр Сергеевич, а коли больше, так и правоты в нас больше...

«Что пользы, если Моцарт будет жив

И новой высоты ещё достигнет?

Подымет ли он тем искусство? Нет!

Оно падёт опять как он исчезнет...

Что пользы в нём? Как некий херувим,

Он несколько занёс нам песен райских,

Чтоб, возмутив бескрылое желанье

В нас, чадах праха, после улететь!

Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!..»

Низкий поклон вам за эти слова вашего же Сальери!

Пушкин (несколько растерян напором Устрялова). Да ведь там есть ещё и слова Моцарта!

Устрялов. Уж извините, читателю вы не указ, что ему брать из трудов ваших! Что мне Моцарт! Вы мне Сальери подарили. Вы дали право посредственности плюнуть в лицо гению, и я взял с благодарностью от вас это право. И воспользуюсь им при первом же случае, дабы утвердить прогресс, а не развитие мысли рывками от случайнорожденных гениальностей! А то что получается? Когда графу Риваролю доложили, что Вольтер пишет с ошибками против орфографии, Ривароль ответил: «Тем хуже для орфографии»!..

Пушкин (усмехнувшись). Вот бы графу Уварову с какого графа пример взять.

Устрялов (топнув ногой). Нет-с! Сие быть не должно! Орфография всем закон! Вас, жар-птиц в небе,– одна, две на столетие, а нас, воробьёв трудолюбивых, зерно собирающих, туча. При надобности мы и жар-птицу скроем от глаз людских, никто и не приметит, что она пролетела.

Пушкин. А вы страшненький!

Устрялов. Да ведь у вас и русский царь – бука. И заметьте, Александр Сергеевич, просвещение – сиречь, свет! – на Руси не за вами, а за графом Уваровым. А он жар-птицам не покровитель, особливо тем, что эпиграммы роняют заместо золотого пера. Честь имею-с!.. (Взяв от Пушкина шубу, резко поворачивается и уходит.)

*За сценой раздражённый крик Устрялова: «Пошёл!»* – *и глухой, по снегу, замирающий топот копыт.*

Пушкин *(прислонившись к столбу, обхватил его рукой).* Слепцы на Руси лампами ведают!..

*Появляется Жуковский, кидается к Пушкину.*

Жуковский. Александр! Умоляю тебя! Где ты пропадал?.. Я только от Натальи Николаевны: она ума решилась.

Пушкин *(прикладывает палец к губам).* Тсс!..

«Три дня купеческая дочь

Наташа пропадала,

Она на двор на третью ночь

Без памяти вбежала.

С вопросами отец и мать

К Наташе стали приступать,

Наташа их не слышит,

Дрожит и еле дышит...».

Жуковский. Ну, коли ты «Наташей» решил обернуться, я обернусь «отцом-с-матерью»! Дрожишь ты от холода. (Сняв шубу, накидывает её на Пушкина.) А «еле дышишь» оттого, что зело нетрезв.

Пушкин. Обернулся-то ты не «отцом-с-матерью», а славянофилом, Василий Андреевич: «зело нетрезв»! Ну, куда это годится?

Жуковский. Яйца курицу учат!

Пушкин. «Победителю ученику от побеждённого учителя»!.. Расписался на всю жизнь на моем «Руслане», терпи! (Скинув шубу, отдаёт её Жуковскому.) Гляди, простудишься.

Жуковский. А ты?.. Вон и снег пошёл.

Пушкин (подставляет ладони под снежинки). Какой снег, Василий Андреевич? Шутник же ты! Яблоневый цвет летит. Есть одна такая ночь в зиме, когда всевышний вместо снега яблоневый цвет на землю роняет. Только испокон веку на ту ночь все люди спали. Нам первым радость выпала яблоневый цвет зимой подглядеть. Пахнет-то как, а? Дурман!

Жуковский (растерянно). Ты об чем, Александр?

Пушкин. Всё об том же: слепцы на Руси лампами ведают! (Смотрит на недоумевающего Жуковского.) Жуковский! Царедворец! Я тебя люблю! (Пытается повалить его в снег.)

Жуковский. Александр! Что за мальчишество? Я же статский советник!

Пушкин. Да ещё при особе государя. Вались, слава отечества! (Кидает его.)

Жуковский (встаёт, отряхивается). В эти три дни государь дважды об тебе спрашивал.

Пушкин. Выходит, в один день из трёх я был свободен? (Хохочет.)

Жуковский. Твоя шутка надменна, я не смеюсь ей.

Пушкин (перестав смеяться). Я тоже. Извини за кураж, Василий Андреевич. Я не пьян.

Жуковский. Что ж столб обнимал?

Пушкин. И столбу надобно, чтоб его кто-нибудь обнял.

Жуковский. Обопрись на меня, я тебя доведу.

Пушкин. Не надобно. Я просто куражился.

Жуковский. Чувствую, каламбур в тебе зреет: «В России Пушкину и опереться не на кого, разве что на столб фонарный». Так то неверный каламбур, и не острословный.

Пушкин. Тем более что ты сам его и выдумал. (Зябко поёжился.)

*Жуковский накрыл его половиной шубы.*

Жуковский (конфиденциально). Давеча, за завтраком, государь обмолвился, что камергерской лентой собирается тебя пожаловать... Ну? Рад?

Пушкин. Нет.

Жуковский. Бог с тобой! Не вздумай отказать государю в его милости. У меня виски начинает ломить, когда я думаю о твоих сумасбродствах. Ну чем, чем государь тебе не угодил? Тем, что хочет пожаловать тебя голубой лентой с золотым ключом?..

Пушкин. Золотым символическим ключиком сердце моё отпирать и запирать хочет по своему монаршему благоусмотрению!

Жуковский. Да! При начале своего царствования он тебя себе присвоил! Да! Он отворил руки тебе в то время, когда ты был раздражён несчастной ссылкой! Да! Чувство благодарности к государю должно наконец слиться в тебе с поэзией! Зачем ты не хочешь принадлежать славе царствования Николая, как Державин принадлежал славе Екатерины, а Карамзин – Александра?..

Пушкин. У меня с государем спор внутренний и непоправимый: я хочу петь и писать человека, а он хочет, чтобы я пел и писал верноподданного. Спор простой, как подкова, да её не разогнуть ни мне, ни ему.

Жуковский. Ведь ты силач, Александр. Понатужься и разогни.

Пушкин (усмехнувшись). Николай Павлович посильнее меня. Что ж ему не предложишь?

Жуковский. Как я предложу государю перестать быть государем!

Пушкин. А мне предлагаешь перестать быть Пушкиным?

Жуковский. Не гордись, Александр! Пушкин ещё не легенда, Пушкин ещё сам – жив, сиречь – верноподданный. Куда денешься от России?

Пушкин. В Россию, Василий Андреевич.

Жуковский. В петровскую Россию тебе не сбежать, это я понял.

Пушкин. А я в будущую Россию удеру! Чем плохо?

Жуковский. Да тем, что её пока нет.

Пушкин. Про то не нам судить, Василий Андреевич! Про то уж рассудили четырнадцатого декабря друзья наши. Я теперь понимаю их стояние перед Сенатом. То было бегство в века, исход светлых мыслей наших в грядущее. Бежали, бежали от «превосходительной» жирности ума и плац-учений на патриота! Вон, Рылеев по способностям мог сделать отменный карьер, в сенаторы выйти, блистать звёздами на груди... Ушёл просто Рылеевым. Все ушли так! Пестель – Пестелем, Каховский – Каховским. С лишением чинов и званий, одной сутью своей к потомкам ушли! И слава богу, они явят век наш перед потомками, а не Устряловы да «Фиглярины». И я хочу – просто Пушкиным! Но Пушкиным – мне просто не позволяют. Государь твоим камергерством меня что к стене прижал: распнись и лги! Величай и сам величав будешь! А я хочу просто Пушкиным. Просто! По совести, чести и таланту, сколько бог дал.

Жуковский. Государь на тебя надеется!

Пушкин. А Россия верит мне. Кого я обмануть должен?

Жуковский. Ты что заряженный пистолет! Тебя разрядить надобно.

Пушкин. Погоди, ужо разряжусь! (Усмехнулся.) И старый, о вечных своих тридцати семи годах, приду в будущее задавать загадки.

Жуковский (встревоженно). Почему о вечных тридцати семи годах?.. Ты что, то поносное письмо послал Геккеренам?.. Ты же обещал мне! Ну?.. (Трясёт его.) Что молчишь? Зачем обмолвился о вечности?..

Пушкин. Однако ты весь хмель во мне встряхнул! Эко дело вечность! Что вечно у нас, Василий Андреевич?

Жуковский *(несколько успокоенный его миролюбивым тоном).* Снега, мой милый. Снега и насморки.

Пушкин. Нет, Жуковский, нет! Руки в нас вечны. Они могут и отечество спасти, и праведную голову отсечь. Одни и те же, Василий Андреевич, заметь, одни и те же! И Летний сад раскинуть для услады санкт-петербуржцев, и Петропавловскую сложить для их же острастки. Руки, Василий Андреевич, руки!

Жуковский. Чепуху несёшь, Александр! Рукам – голова царь. Без повеления головы руки твои что плети висеть будут.

Пушкин. Ох, Василии Андреевич! Неумелым рукам-то никакая голова не указ. Умелы руки наши, ох как умелы! И на стихи, и на доносы, и на отсечение голов.

Жуковский. Непотребно говоришь, пиита!

Пушкин. Пииты не говорят, пииты глаголят. О славе рук наших глаголю, Василий Андреевич, о славе и позоре рук наших.

Жуковский. Что ж ты, душа моя, гимн рукам поёшь, а сам написал: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»? Изволь либо строку переменить, либо разговор сей окончить.

Пушкин. Нет, строку менять не стану.

Жуковский. И зря! Николай Павлович эти стихи твои в печать пустить хочет. Разговор у меня об том с ним был.

Пушкин. Неужто?..

Жуковский. Разумеется, с правкой. Да она уж и случилась.

Пушкин. Кто правку держал?

Жуковский. Я.

Пушкин. Что поправил?

Жуковский. Ну, пойми, пойми – нельзя сегодня так сказать россиянам: «Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа»!.. Александр Павлович Наполеона победил, за то и столп ему перед Зимним от благодарной России. Твоя-то слава не выше венценосного победителя! Нескромно, да и... не патриотично, если хочешь.

Пушкин (холодно закипая). Как поправил?

Жуковский

«Вознёсся выше он главою непокорной

Наполеонова столпа».

Есть такой столп. В Париже. Всё не наш!

Пушкин. Что ещё?

Жуковский.

«И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу»...

Пушкин. Как теперь?

Жуковский.

«И долго буду тем народу я любезен,

Что чувства бодрые я лирой пробуждал,

Что прелестью живой стихов я был полезен»...

Пушкин (помолчав). Василий Андреевич! Я в твою чернильницу не лезу, не залезай и ты в мою! Прости на резком слове.

Жуковский**.** Ну поступись хоть малостью!

Пушкин. Такой малостью – значит, всем поступиться.

Жуковский (оставив шубу на плечах Пушкина, взволнованно зашагал). Ты сам, сам кузнец своих несчастий! Ты их выковываешь терпеливо, упорно, узорчато! И к друзьям своим ты неблагодарен, а они тебе добра хотят! Друзья о жизни твоей заботятся!

Пушкин. Благодарю, но черт ли в этакой жизни? Что твоя, что Петра Вяземского дружба входит в заговор с тиранством, сама берётся оправдать его, отвратить моё негодование!

Жуковский. Да что ж ты на друзей кинулся? Друзья не враги, коли с друзьями поссоришься, надо мириться!

Пушкин. Смириться, а не мириться, Василий Андреевич! С друзьями смириться надо. Ты прав: друзья не враги, им картель не пошлёшь. Вот и смиряйся. Друзья!

Жуковский. Ах, как нескладно!.. Ну да пойдём в дом, договорим в тепле.

Пушкин. Я с фонарём хочу побыть.

Жуковский. Шуба-то у тебя в доме ещё есть?

Пушкин. Есть. Я в большой был, вели Никите принесть, малую. А свою возьми. (Отдаёт Жуковскому шубу, тот уходит.)

*Появляется Николай Павлович, совершающий вечерний моцион. Заметив Пушкина, останавливается подле пего.*

Николай. Где пропадал три дни?

Пушкин. В чёрных кабаках, государь. Записывал песни от ламповщиков вашего величества.

Николай. А шуба?

Пушкин. Видно, привезут: я бежал от обильных яств и возлияний водочных.

Николай. Да ведь простынешь! Возьми половину моей. (Прикрывает Пушкина.) Нам бы с тобой, Пушкин, так вместе и идти. А ты всё в лес глядишь.

Пушкин. Я не волк, ваше величество.

Николай. Что ж к волчьим местам тянет, в деревню зимнюю просишься? То-то. (Помолчав.) Знаю, что не волк, потому и держу при себе.

Пушкин. Да ведь я и не собака!

Николай. Не дерзи мне! Я сердиться на тебя не умею, сам знаешь. Не пользуйся этим.

Пушкин. А коли не в деревню, а в Париж опять попрошусь?.. Александр Тургенев сказывал, там документов эпохи Петровой множество. Кое-что он переписал, а остальные ещё таятся.

Николай. Ах, Пушкин! Посуди сам, как мне тебя в Париж пускать? Париж город сладостный, а ну как твоя душа и прильнёт к нему? Недаром один поэт – не припомню кто, да помню, французский – сказал: «Отечество там, где душа закрепощена».

Пушкин. В таком случае, государь, вашему величеству не след опасаться: Россия есть отечество по преимуществу, в ней закрепощённых душ – сиречь крепостных – и не перечесть!

Николай. Да когда же ты наконец перестанешь быть эпиграммой, а станешь поэмой? Когда петь начнёшь, а не злословить? В тебе светоч российской поэзии живёт. Такой светоч – государству просвещение, коли умелые руки фитиль подправлять будут да нагар вовремя снимать.

Пушкин (усмехнувшись, про себя). Слепцы на Руси лампами ведают!

Николай. Ты что там бурчишь под моей полой, а? Опять какую-нибудь эпиграмму?

Пушкин. Нет, ваше величество, строку из песни.

Николай. Об чем песня?

Пушкин. Об России, государь.

Николай. А строка?

Пушкин. Та, которую из песни не выкинешь.

Николай. Ну, хоть не эпиграмма, и то довольно! За ум-то возьмёшься?.. Ты Жуковского повидай. Коли примешь его редакцию своего «Памятника» – допущу в издание. Ну, ну, не благодари, ступай в дом. А то, я чаю, у тебя уж и нос залёг. (Отходит от Пушкина, останавливается, как бы вспомнив.) Да!.. Я уж и титульный лист к труду твоему велел заказать: «История Петра Великого, сочинение Александра Пушкина, графа и камергера»... (Идёт к мостику и – *ещё* раз, обернувшись.) Графа и камергера... Ты со мной дружи! (Уходит.)

Пушкин. Александр Пушкин, росту два аршина четыре вершка, голубоглаз, рус, бороду бреет, граф, камергер, и... «долго будет тем народу он любезен, что чувства бодрые он лирой пробуждал, что прелестью живой стихов он был полезен»...

*Тихо подошла Натали с шубой в руках.*

*(Не заметив ею, рванул на себе ворот.)* Пора!..

Натали. Уж три дни, как пора! (Накидывает на него шубу, по-бабьи припадает к плечу.) Мне Жуковский сказал, что ты у фонаря куражишься.

Пушкин *(не оборачиваясь, потрепал её по руке).* Прости, жёнка. Загулял.

Натали. Бог простит.

Пушкин. А ты?

Натали. И я за ним.

Пушкин *(помолчав).* Наташа...

Натали. Что, милый?

Пушкин. Ты... за меня от любви пошла?

Натали. Что ж через шесть лет спрашивать? Мог бы и тогда спросить.

Пушкин. Тогда страшно было. Пошла за меня, и довольно. Думал, моей страсти к тебе станет на нас двоих. Ну?.. Что ж теперь молчишь? От любви пошла за меня?

Натали. Нет. (Улыбнулась.) Ты мне просто иного выхода не дал! Сперва я тебя терпела...

Пушкин. А потом?

Натали. Потом стала узнавать о тебе понаслышке, от других. То князь Пётр Андреевич поздравит с каким-то новым пушкинским чудом, то Жуковский. Я с первых выездов поняла, что красавица. А нашлись люди, которым я стала хороша не сама по себе, а стала хороша Пушкиным. Не скрою, это я поняла с удивлением и начала считать тебя частью моей красоты, примерять «Пушкина» к своему лицу, шляпке, платью, чтоб шёл ко мне... О, поздравления с твоими новыми стихами я принимала с достоинством! Грешна, тогда я их и не читала, но следующему собеседнику повторяла то, что говорил мне об них предыдущий... Из моих уст Виельгорский почтительно выслушивал мнение Вяземского, отправлялся искать тебя и, поди, поздравлял с женой-умницей!..

*Пушкин рассмеялся.*

Жуковскому я уже говорила то, что успела узнать об твоих стихах от Виельгорского. А тебя самого, дома, судила словами Жуковского. Прости, при выездах «Евгений Онегин» стал мне вместо жемчужного оклада вокруг шеи... Не так давно я впервые сбросила перед тобой мою красоту, стала дивиться движениям твоей души, чувствам и... влюбилась. У меня не было романа с женихом, у меня он случился с мужем.

Пушкин. Да. Трудно бывает понять свою любовь, когда она – дом, дети, долги...

Натали. Я поняла.

Пушкин. Благодарствуй на том. (Помолчав.) Зачем же Дантес?

Натали. Жорж блестящ и неглуп, в его словах я любуюсь собой, точно в зеркале. Какая женщина не повертится перед зеркалом?.. Сказывают, Катерина Андревна Карамзина тоже когда-то вертелась перед тобой, юношем. А Карамзин был жив. И ревновал.

Пушкин. Да. Карамзин был жив. И ревновал. Поди, друг мой. Я скоро.

Натали. Ты ляжешь в спальной? Или я велю постлать тебе чистое в кабинете?

Пушкин. Вели чаю согреть.

Натали. Хорошо.

Пушкин. Прости меня! Ты ни в чем не виновата.

Натали. Я знаю. (Уходит.)

Пушкин. Прости и ты, Василий Андреевич... Прости... Мечтал я о диалоге со временем, а время вместо того меня к дуэли припёрло. Да ведь чем не диалог? Барьерами шубы, и – «Сходитесь, господа!» Для самого короткого диалога на свете: собеседники обмениваются всего лишь двумя точками. И цензор не придерётся!..

*Шуба соскользнула с пушкинского плеча, легла к ногам. Пушкин стоит во фраке у шубы, как у барьера. Всё будет так через несколько дней, на Чёрной речке. Но Пушкин уже в мыслях перед воображаемым противником. В голосе его появляются издевательские нотки.*

...Дантес, голубчик, ты красив неправдоподобно! Ты и теперь улыбаешься – по привычке, для показа красивых зубов!.. Про тебя, мой милый, можно отдать команду: «Господа гвардия! На красоту поручика Дантеса – равняйсь!..» Ага, ты побледнел, правофланговый гвардейской красоты! Ты прикидываешь, а можно ли отдать команду: «Господа Российская Словесность, на чиновника десятого класса камер-юнкера Пушкина – равняйсь!» Нет, кавалергард, нельзя: чтобы Российской Словесности равняться на камер-юнкера Пушкина, ей ещё надобно голову задирать!.. О, я знаю, ты выстрелишь, не дойдя до барьера. Я вижу, как напряглась твоя рука... (Подался вперёд.) Ты все-таки трус, Жорж Дантес де Геккерен!.. Трус и негодяй!.. Ну?!

*С треском лопнуло фонарное стекло. Масляный огонь взметнулся и опал. Пушкин вздрогнул, точно от выстрела. Выпрямился. Поднял правую руку, словно сжимая в ней рукоятку пистолета. Но стиснутый кулак разжался. Пушкин держит руку ладонью вверх, ловя снег.*

...А знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня...

Глупость-то какая! Через две строки «кобылка» «конём» обернулась! Слава богу, и строкоед Жуковский не заметил. Надо бы исправить... Да теперь уж – когда?.. (И, как бы продолжая спор с Николаем Павловичем, говорит, ударяя на слова, неугодные государю, оставив и тут за собой последнее слово.)

Нет, долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал!..

Конец

1970 г.

1. –––––––––

 Суле́я – бутыль [↑](#footnote-ref-1)